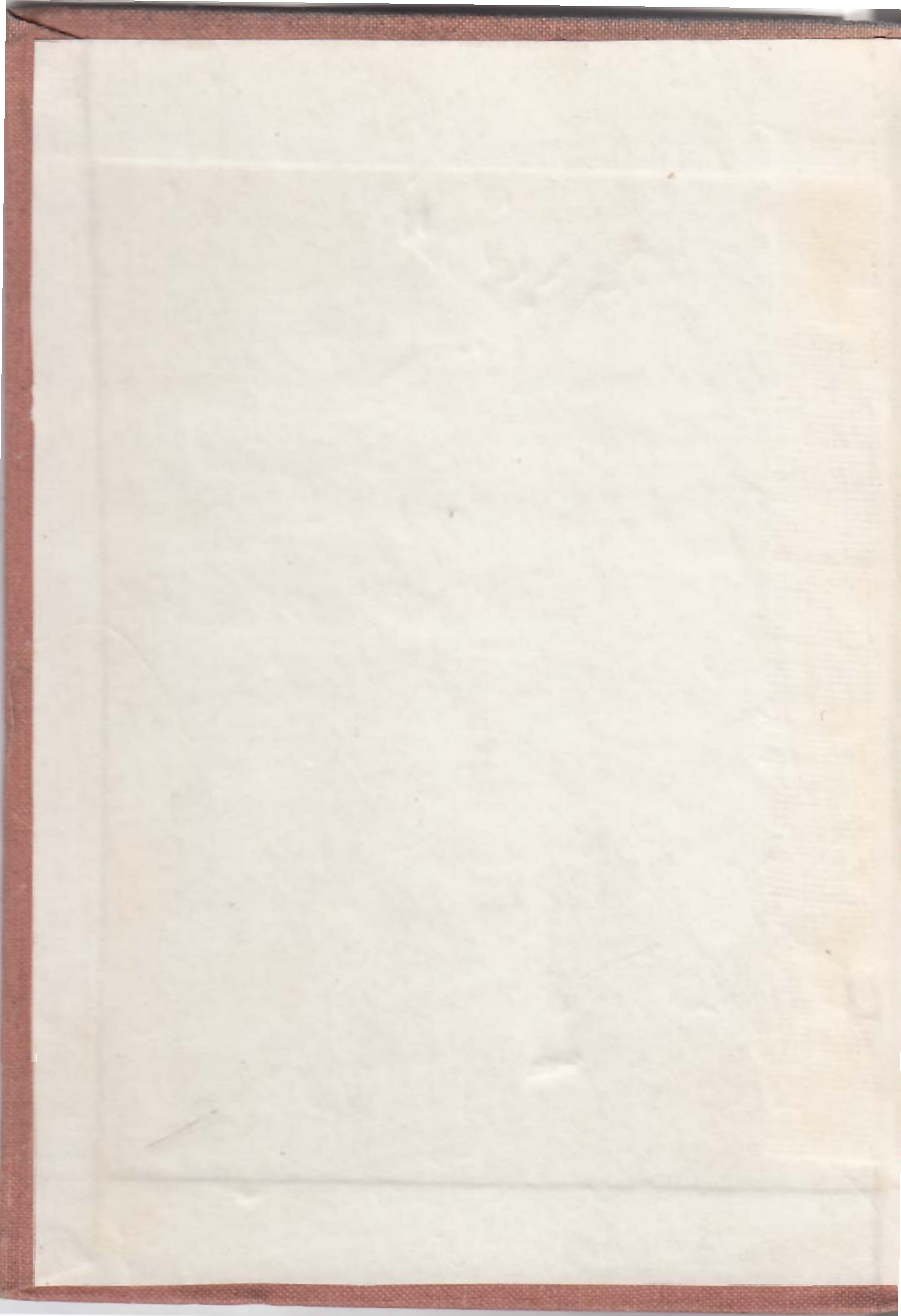


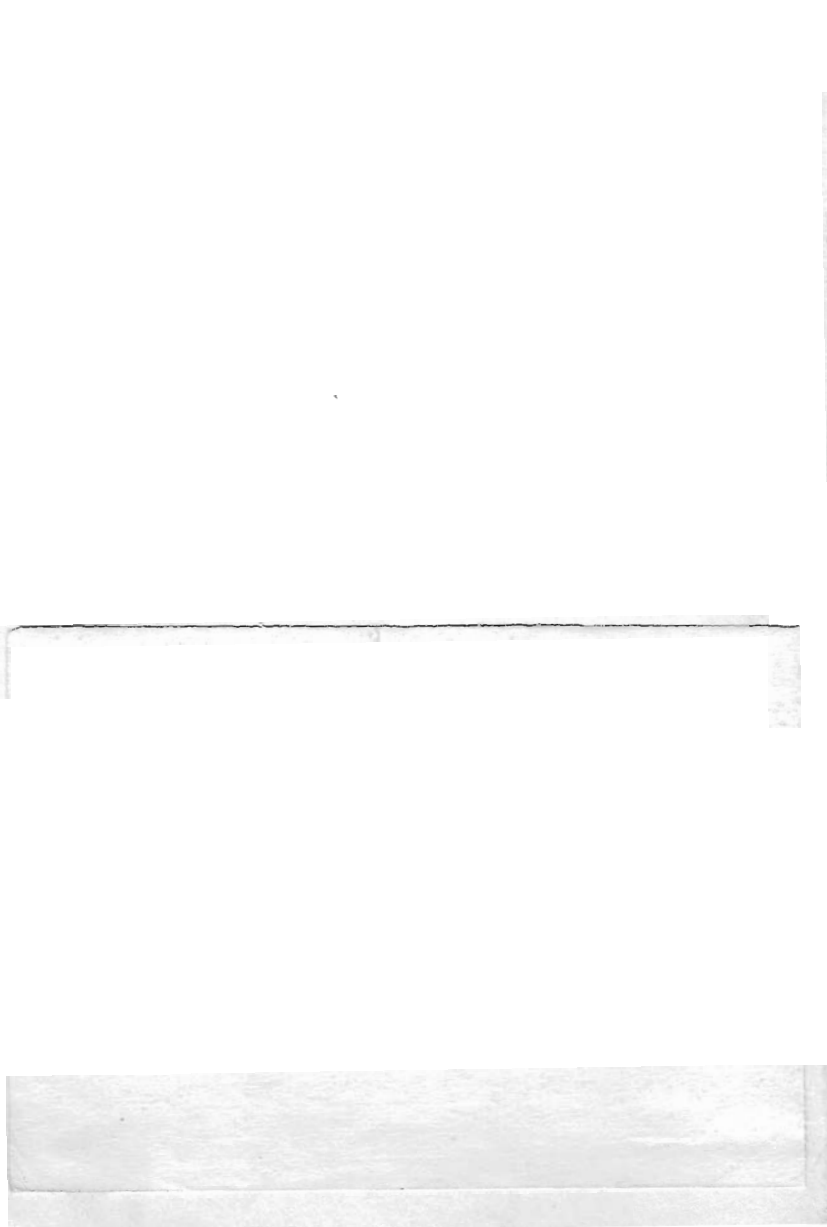
Р2
П28

ДМИТРИЙ КЕДРИН
БОРИС КОРНИЛОВ
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ
ПАВЕЛ ШУБИН

Песня быличная
и своя









Тесня общая
и своя

Р2
П28

**ДМИТРИЙ КЕДРИН,
БОРИС КОРНИЛОВ,
ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ,
ПАВЕЛ ШУБИН**

СТИХИ



ПОЭМЫ

Кемеровское книжное издательство

1 9 7 7

Р2
К33

Составитель Т. МАХАЛОВА

Оформление Н. КОФАНОВА

-7679-(1)



К $\frac{70402-16}{М 145(03)-77}$ 30-77

© Кемеровское книжное издательство, 1977, составление

Дмитрий Кедрин, Борис
Корнилов, Павел Васильев и
Павел Шубин. Четыре рус-
ских поэта. Их роднит одно
время, одна земля, одна боль-
шая любовь к этой земле.

Талант каждого из них
ярок и своеобразен, но помни
они одну общую песню, песню
о России, о своем времени, о
современниках — песню общую и
свою.



ДМИТРИЙ КЕДРИН

1907—1945



Дмитрий Борисович Кедрин родился в Донбассе, на Богодуховском руднике (ныне Донецк) в семье счетовода. Рано осиротел. Детство и юность его прошли в Днепропетровске.

Учился в Днепропетровском техникуме путей сообщения, работал в редакции комсомольской газеты «Грядущая смена». Первая публикация — в 1924 г. В 1931 г. Д. Кедрин с семьей переехал в Мос-

кву, работал в многотиражке вагонного завода, затем (с 1933 г. по 1941 г.) — литконсультантом издательства «Молодая гвардия». Осенью 1932 г. его стихотворение «Кукла» по предложению М. Горького было прочитано на встрече писателей с членами правительства. Во время Великой Отечественной войны Д. Кедрин по состоянию здоровья не был призван в армию, но в мае 1943 г. он добился направления на Северо-Западный фронт и около года работал в газете Шестой воздушной армии «Сокол Родины».

Первая и единственная прижизненная книга Д. Кедрина «Свидетели» вышла в 1940 г. с эпиграфом «Стихи мои, свидетели живые!..» (первая строка Н. А. Некрасова). Подготовлены были Дмитрием Кедриним рукописи еще двух сборников: «День гнева. Стихи о войне» (вошли стихотворения с августа 1941 г. по февраль 1943 г.) и «Русские стихи» (составлен автором в конце 1942 г. и передан в изд-во «Советский писатель»), однако при жизни поэта они не были изданы.



КУКЛА

Как темно в этом доме!
Тут царствует грузчик багровый,
Под нетрезвую руку
Тебя колотивший не раз...
На окне моем — кукла.
От этой красотки безбровой
Как тебе оторвать
Васильки загоревшихся глаз?

Что ж!
Прильни к моим стеклам
И красные пальчики высунь...
Пес мой куклу изгрыз,
На подстилке ее теребя.
Кукле — много недель!
Кукла стала курносой и лысой.
Но не всё ли равно?
Как она взволновала тебя!

Лишь однажды я видел:
Блистали в такой же заботе
Эти синие очи,

Когда у соседских ворот
Говорил с тобой мальчик,
Что в каменном доме напротив
Красный галстучек носит,
Задорные песни поет.
Как темно в этом доме!
Ворвись в эту нору сырую
Ты, о время мое!
Размечи этот нищий уют!
Тут дерутся мужчины,
Тут женщины тряпки воруют,
Сквернословят, судачат,
Юродствуют, плачут и пьют.

Дорогая моя!
Что же будет с тобой?
Неужели
И тебе между них
Суждена эта горькая часть?
Неужели и ты
В этой доле, что смерти тяжеле,
В девять — пить,
В десять — врать
И в двенадцать
Научишься красть?

Неужели и ты
Погрузишься в попойку и в драку,
По намекам поймешь,
Что любовь твоя —

Ходкий товар,
 Углем вычернишь брови,
 Нацепишь на шею — собаку,
 Красный зонтик возьмешь
 И пойдешь на Покровский бульвар?
 Нет, моя дорогая!
 Прекрасная нежность во взорах
 Той великой страны,
 Что качала твою колыбель!
 След труда и борьбы —
 На руке ее известь и порох,
 И под этой рукой
 Этой доли —
 Бояться тебе ль?
 Для того ли, скажи,
 Чтобы в ужасе,
 С черствою коркой
 Ты бежала в чулан
 Под хмельную отцовскую дичь, —
 Надрывался Дзержинский,
 Выкашливал легкие Горький,
 Десять жизней людских
 Отработал Владимир Ильич?

И когда сквозь дремоту
 Опять я услышу, что начат
 Полуночный содом,
 Что орет забулдыга отец,
 Что валится посуда,
 Что голос твой тоненький плачет, —
 О терпенье мое!
 Оборвешься же ты наконец!

И придут комсомольцы,
И пьяного грузчика свяжут
И нагрянут в чулан,
Где ты дремлешь, свернувшись в калач,
И оденут тебя,
И возьмут твои вещи,
И скажут:
«Дорогая!
Пойдем,
Мы дадим тебе куклу.
Не плачь!»

1932



СТРОИТЕЛЬ

Мы разби́ли под звездами табор
И гвоздем прико́лоли к шесту
Наш фонарик, раздвинувший слабо
Гуталиновую черноту.
На гранита шершавые плиты
Аккуратно поставили мы
Ватерпасы и теодолиты,
Положили кирки и ломы.
И покуда товарищи спорят,
Я задумался с трубкой у рта:
Завтра утром мы выстроим город,
Назовем этот город — Мечта.
В этом улье хрустальном не будет
Комнатушек, похожих на клеть.
В гулких залах веселые люди
Будут редко грустить и болеть.
Мы сады разобьем, и над ними
Станет, словно комета хвостат,
Неземными ветрами гонимый,
Пролетать голубой стратостат.
Благодарная память потомка!
Ты поклонисься нам до земли.
Мы в тяжелых походных котомках
Для тебя это счастье несли!

Не колеблясь ни влево, ни вправо,
Мы работе смотрели в лицо,
И вздымаются тучные травы
Из сердец наших мертвых отцов...
Тут, одетый в брезентовый китель,
По рештовкам у каждой стены,
Шел и я, безыменный строитель
Удивительной этой страны.

1930



ПОЕДИНОК

К нам в гости приходит мальчик
Со сросшимися бровями,
Пунцовый густой румянец
На смуглых его щеках.

Когда вы садитесь рядом,
Я чувствую, что меж вами
Я скучный, немножко лишний,
Педант в роговых очках.

Глаза твои лгать не могут.
Как много огня теперь в них!
А как они были тусклы...
Откуда же он воскрес?
Ах, этот румяный мальчик!
Итак, это мой соперник,
Итак, это мой Мартынов,
Итак, это мой Дантес!

Ну что ж! Нас рассудит пара
Стволов роковых Лепажа
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Два вежливых секунданта,

Под горкой — два экипажа,
Да седенький доктор в черном,
С очками на злом носу.

Послушай-ка, дорогая!
Над нами шумит эпоха,
И разве не наше сердце —
Арена ее борьбы?
Виновен ли этот мальчик
В проклятых палочках Коха,
Что ставило нездоровье
В колеса моей судьбы?

Наверно, он физкультурник,
Из тех, чья лихая стайка
Забил на стадионе
Испании два гола.
Как мягко и как свободно
Его голубая майка
Тугие гибкие плечи
Стянула и облегла!

А знаешь, мы не подыдем
Стволов роковых Лепаж
На дальней глухой полянке,
Под Мамонтовкой, в лесу.
Я лучше приду к вам в гости
И, если позволишь, даже
Игрушку из Мосторгина
Дешевую принесу.



Твой сын, твой малыш безбровый
Покоится в колыбели.
Он важно пускает слюни,
Вполне довольный собой.
Тебя ли мне ненавидеть
И ревновать к тебе ли,
Когда я так опечален
Твоей морщинкой любой?

Ему покажу я рожки,
Спрошу: «Как дела, Егорыч?»
И, мирно напившись чаю,
Пешком побреду домой.
И лишь закурю дорогой,
Почуяв на сердце горечь,
Что наша любовь не вышла,
Что этот малыш — не мой.

1933

ДВОЙНИК

Два месяца в небе, два сердца в груди,
Орел позади, и звезда впереди.
Я поровну слышу и клетот орлиный,
И вижу звезду над родимой долиной:
Во мне перемешаны темень и свет,
Мне Недоросль — прадед, и Пушкин — мой дед.

Со мной заодно с колченогой кровати
Утрами встает молодой обыватель,
Он бродит, раздет, и немыт, и небрит,
Дымит папиросой и плоско острит.
На сад, что напротив, на дачу, что рядом,
Глядит мой двойник издевательским взглядом,
Равно неприязненный всем и всему, —
Он в жизнь в эту входит, как узник в тюрьму.

А я человек переходной эпохи...
Хоть в той же постели грызут меня блохи,
Хоть в те же очки я гляжу на зарю
И тех же сортов папиросы курю,
Но славлю жестокость, которая в мире
Клопов выжигает, как в затхлой квартире,

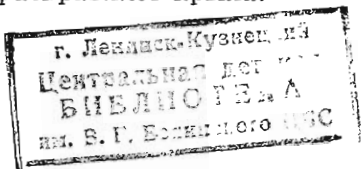


Которая за косы землю берет,
С которой сегодня и я в свой черед
Под знаменем гезов, суровых и босых,
Вперед заносу мой скитальческий посох...
Что ж рядом плетется, смешок затая,
Двойник мой, проклятая косность моя?

Так, пробуя легкими воздух студень,
Сперва задыхается новорожденный,
Он мерзнет, и свет ему режет глаза,
И тянет его воротиться назад,
В привычную ночь материнской утробы;
Так золото мучат кислотною пробой,
Так все мы в глаза двойника своего
Глядим и решаем вопрос: кто кого?

Мы вместе живем, мы неплохо знакомы,
И сильно не ладим с моим двойником мы:
То он меня ломит, то я его мну,
И, чуть отдохнув, продолжаем войну.
К эпохе моей, к человечества маю
Себя я за шиворот приподымаю.
Пусть больно от этого мне самому,
Пусть тяжело, — я себя подыму!
И если мой голос бывает печален,
Я знаю: в нем фальшь никогда не жила!..
Огромная совесть стоит за плечами,
Огромная жизнь расправляет крыла!

(1934)



СЕРДЦЕ

(Бродячий сюжет)

Девчину пытается казак у плетня:
«Когда ж ты, Оксана, полюбишь меня?
Я саблей добуду для крали своей
И светлых цехинов, и звонких рублей!»
Девчина в ответ, заплетая косу:
«Про то мне ворожка гадала в лесу.
Пророчит она: мне полюбится тот,
Кто матери сердце мне в дар принесет.
Не надо цехинов, не надо рублей,
Дай сердце мне матери старой твоей.
Я пепел его настою на хмелю,
Настоя напьюсь — и тебя полюблю!»
Казак с того дня замолчал, захмурил,
Борща не хлебал, саламаты не ел.
Клинком разрубил он у матери грудь
И с ношей заветной отправился в путь:
Он сердце ее на цветном рушнике
Коханой приносит в косматой руке.
В пути у него помутилось в глазах,
Всходя на крылечко, споткнулся казак.
И матери сердце, упав на порог,
Спросило его: «Не ушибся, сынок?»

1935



КОФЕЙНЯ

«...Имеющий в кармане мускус
не кричит об этом на улицах. Запах
мускуса говорит за него».

Саади

У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.
Магомет, в Омара пальцем тыча,
Лил ушатом на беднягу ругань.

Он в сердцах порвал на нем сорочку
И визжал в лицо, от злобы пьяный:
«Ты украл пятнадцатую строчку,
Низкий вор, из моего «Дивана»!

За твоими подлыми следами
Кто пойдет из думающих здраво?»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

А Омар плевал в него с порога
И шипел: «Презренная бездарность!
Да минет тебя любовь пророка
Или падишаха благодарность!

Ты бесплоден! Ты молчишь годами!
Быть певцом ты не имеешь права!»
Старики кивали бородами,
Молодые говорили: «Браво!»

Только некто пил свой кофе молча,
А потом сказал: «Аллаха ради!
Для чего пролито столько желчи?»
Это был блистательный Саади.

И минуло время. Их обоих
Завалил холодный снег забвенья.
Стал Саади золотой трубою,
И Саади слушала кофейня.

Как ароматические травы,
Слово пахло медом и плодами,
Юноши не говорили: «Браво!»
Старцы не кивали бородами.

Он заморозил их песней птичьей,
Песней жаворонка в росах луга...
У поэтов есть такой обычай —
В круг сойдясь, оплевывать друг друга.



БЕСЕДА

На улице пляшет дождик. Там тихо, темно и сыро.
Присядем у нашей печки и мирно поговорим.
Конечно, с ребенком трудно. Конечно, мала квартира.
Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым.

Еще тошноты и пятен даже в помине нету,
Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри!
Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам
Испуганно догадалась, что у тебя внутри.
Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким
И розовый круглый ротик испачкает молоком.
Нет, глубоко под сердцем, в твоих золотых потемках
Не жизнь, а лишь завязь жизни завязана узелком.

И вот ты бежишь в тревоге прямо к гомеопату.
Он лыс, как головка сыра, и нос у него в угрях,

Глаза у него навывкат и борода лопатой,
Он очень ученый дядя — и все-таки он дурак!

Как он самодовольно пророчит тебе победу!
Пятнадцать прозрачных капель он в склянку
твою нальет.
«Пять капель перед обедом, пять капель после
обеда —
И всё как рукой снимает! Пляшите опять
фокстрот!»

Так, значит, сын не увидит, как флаг над
Советом вьется?
Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?
Послушай, а что ты скажешь, если он будет
Моцарт,
Этот не живший мальчик, вытравленный тобой?

Послушай, а если ночью вдруг он тебе приснится,
Приснится и так заплачет, что вся захолонешь
ты,
Что жалко взмахнут в испуге подкрашенные
ресницы
И волосы разовьются, старательно завиты,

Что хлынут горькие слезы и начисто смоют
краску,
Хорошую, прочную краску с темных твоих
ресниц?..
Помнишь, ведь мы читали, как в старой
английской сказке
К охотнику приходили души убитых птиц.



когда-то

Кудрявых волос, как прежде, туман золотой
 клубится,
Глазок исподлобья смотрит лукавый и голубой.
Пускай за это не судят, но тот, кто убил,—

Скажу тебе правду: ночью мне страшно вдвоем с тобой!

ЗОДЧИЕ

Как побил государь
Золотую орду под Казанью,
Указал на подворье свое
Приходить мастерам.
И велел благодетель,—
Гласит летописца сказанье,—
В память оной победы
Да выстроят каменный храм.

И к нему привели
Флорентинцев,
И немцев,
И прочих
Иноземных мужей,
Пивших чару вина в один дых.
И пришли к нему двое
Безвестных владимирских зодчих,
Двое русских строителей,
Русых,
Босых,
Молодых.

Лился свет в слюдяное оконце.
Дух тяжкий и спертый.

Изразцовая печка.
 Божница.
 Угар и жара.
 И в посконных рубахах
 Перед Иоанном Четвертым,
 Крепко за руки взявшись,
 Стояли сии мастера.

«Смерды!
 Можете ль церкву сложить
 Иноземных пригожей?
 Чтоб была благолепней
 Заморских церквей, говорю?»
 И, потрянув волосами,
 Ответили зодчие:
 «Можем!
 Прикажи, государь!»
 И ударились в ноги царю.

Государь приказал.
 И в субботу на вербной неделе,
 Покрестясь на восход,
 Ремешками схватив волоса,
 Государевы зодчие
 Фартуки наспех надели,
 На широких плечах
 Кирпичи понесли на леса.

Мастера заплетали
 Узоры из каменных кружев,
 Выводили столбы
 И, работой своею горды,

Купол золотом жгли,
Скаты крыли лазурью снаружи
И в свинцовые рамы
Вставляли чешуйки слюды.

И уже потянулись
Стрельчатые башенки кверху.
Переходы,
Балкончики,
Луковки да купола.
И дивились ученые люди,
Зане эта церковь
Краше вилл италийских
И пагод индийских была.

Был диковинный храм
Богомазами весь размалеван,
В алтаре
И при входах,
И в царском притворе самом.
Живописной артелью
Монаха Андрея Рублева
Изукрашен зело
Византийским суровым письмом...

А в ногах у постройки
Торговая площадь жужжала,
Торовато кричала купцам:
«Покажи, чем живешь!»
Ночью подлый народ
До креста пропивался в кружалах,
А утрами истошно вопил,



Становясь на правеж.
Тать, засеченный плетью,
У плахи лежал бездыханно,
Прямо в небо уставя
Очесок седой бороды,
И в московской неволе
Томились татарские ханы,
Посланцы Золотой,
Переметчики Черной орды.

А над всем этим срамом
Та церковь была —
Как невеста!
И с рогожкой своей,
С бирюзовым колечком во рту —
Непотребная девка
Стояла у Лобного места
И, дивясь,
Как на сказку,
Глядела на ту красоту...

А как храм освятили,
То с посохом,
В шапке монашьей,
Обошел его царь —
От подвалов и служб
До креста.
И, окинувши взором
Его узорчатые башни,
«Лепота!» — молвил царь.
И ответили все: «Лепота!»

И спросил благодетель:
«А можете ль сделать пригожей,
Благолепнее этого храма
Другой, говорю?»
И, тряхнув волосами,
Ответили зодчие:
«Можем!
Прикажи, государь!»
И ударились в ноги царю.

И тогда государь
Повелел ослепить этих зодчих,
Чтоб в земле его
Церковь
Стояла одна такова,
Чтобы в суздальских землях
И в землях рязанских
И прочих
Не поставили лучшего храма,
Чем храм Покрова!

Соколиные очи
Кололи им шилом железным,
Дабы белого света
Увидеть они не могли,
Их клеймили клеймом,
Их секли батогами, болезных
И кидали их,
Темных,
На стылое лоно земли.



И в Обжорном ряду,
Там, где заваль кабацкая пела,
Где сивухой разило,
Где было от пару темно,
Где кричали дьяки:
«Государево слово и дело!» —
Мастера христа ради
Просили на хлеб и вино.

И стояла их церковь,
Такая,
Что словно приснилась,
И звонила она,
Будто их отпевала навзрыд,
И запретную песню
Про страшную царскую милость
Пели в тайных местах
По широкой Руси
Гусляры.

1938

ПИРАМИДА

Когда болезнь, как мускусная крыса,
Что заползает ночью в камелек,
Изъела грудь и чрево Сезостриса —
Царь понял:
День кончины недалек!
Он продал дочь.
Каменотесам выдал
Запасы
Меди,
Леса,
Янтаря,
Чтоб те ему сложили пирамиду —
Жилье, во всем достойное царя.

Днем раскаляясь,
Ночью холодея,
Лежал Мемфис на ложе из парчи,
И сотни тысяч пленных иудеев
Тесали плиты,
Клали кирпичи.
Они пришли покорные,
Без жалоб,
В шатрах верблюжьих жили,
Как пришлось;

У огнеглазых иудеек на лоб
 Спадали кольца смоляных волос...
 Оторваны от прялки и орала,
 Палимы солнцем,
 Брошены во тьму, —
 Рабы царя...
 Их сотни умирало,
 Чтоб возвести могилу одному!
 И вырос конус царственной гробницы
 Сперва на четверть,
 А потом на треть.
 И, глядя вдаль сквозь длинные ресницы,
 Ждал Сезострис —
 И медлил умереть.

Когда ж ушли от гроба сорок тысяч,
 Врубив орнамент на последний фриз,
 Велел писцам слова гордыни высечь
 Резцом на меди чванный Сезострис:
 «Я,
 Древний царь,
 Воздвигший камни эти,
 Сказал:
 Покрыть словами их бока,
 Чтоб тьмы людей,
 Живущие на свете,
 Хвалили труд мой
 Долгие века».

Вчерашний мир
 Раздвинули скитальцы,
 Упали царства,

Встали города.
Текли столетья,
Как песок сквозь пальцы,
Как сквозь ведро дырявое
Вода.
Поникли сфинксы каменными лбами.
Кружат орлы.
В пустыне зной и тишь.

А время
Надпись
Выгрызло зубами,
Как ломтик сыра
Выгрызает мышь.
Слова,
Что были выбиты, как проба,
Молчат сегодня о его делах.
И прах его,
Украденный из гроба,
В своей печи убогой
Сжег феллах.
Но, мир пугая каменным величьем,
Среди сухих известняковых груд
Стоит,
Побелена пометом птичьим,
Его могила —
Безыменный труд.

И путник,
Ищущий воды и тени,
Лицо от солнца шлемом заслоня,
Пред ней,



В песке сыпучем по колени,
Осадит вдруг поджарого коня
И скажет:
«Царь!
Забыты в сонме прочих
Твои дела
И помыслы твои,
Но вечен труд
Твоих безвестных зодчих,
Трудолюбивых,
Словно муравьи!»

1940

АРХИМЕД

Нет, не всегда смешон и узок
Мудрец, глухой к делам земли:
Уже на рейде в Сиракузах
Стояли римлян корабли.

Над математиком курчавым
Солдат занес короткий нож,
А он на отмели песчаной
Окружность вписывал в чертеж.

Ах, если б смерть — лихую гостью —
Мне так же встретить повезло,
Как Архимед, чертивший тростью
В минуту гибели — число!

5 декабря 1941

1941

Ты, что хлеб свой любовно выращивал,
 Пел, рыбачил, глядел на зарю.
 Голосами седых твоих пращуров
 Я, Россия, с тобой говорю.

Для того ль новосел заколачивал
 В первый сруб на Москве первый гвоздь.
 Для того ль астраханцам не плачивал
 Дани гордый владимирский гость;

Для того ль окрест города хитрые
 Выводились заслоны да рвы
 И палили мы пеплом Дмитрия
 На четыре заставы Москвы;

Для того ль Ермаковы охотники
 Белку били дробинкою в глаз;
 Для того ль пугачевские сотники
 Смердам чли Государев Указ;

Для того ли, незнамы-неведомы,
 Мы в холодных могилах лежим,
 Для того ли тягались со шведами
 Ветераны Петровых дружин;

Для того ли в годину суровую,
Как пришел на Москву Бонапарт,
Попалили людишки дворовые
Огоньком его воинский фарт;

Для того ль стыла изморозь хрусткая
У пяти декабристов на лбу;
Для того ль мы из бед землю Русскую
На своем вывозили горбу;

Для того ль сеял дождик холодненький,
Точно слезы родимой земли,
На этап бритолобых колодников,
Что по горькой Владимирке шли;

Для того ли под ленинским знаменем
Неусыпным тяжелым трудом
Перестроили мы в белокаменный
Наш когда-то бревенчатый дом;

И от ярого натиска вражьего
Отстояли его для того ль,—
Чтоб теперь истлевать тебе заживо
В самой горькой из горьких неволь.

Чтоб, тараща глаза оловянные,
Муштровала ребят немчура,
Чтобы ты позабыл, что славянами
Мы с тобой назывались вчера.

Бейся ж так, чтоб пришельцы поганые
К нам ходить заказали другим.



Неприятелям на поругание
Не давай наших честных могил!

Оглянись на леса и на пажити,
Выдвигаясь с винтовкою в бой;
Всё, что кровным трудом нашим нажито,
За твоею спиной, за тобой!

Чтоб добру тому не быть растащену,
Чтоб отчизне цвести и сиять,
Голосами седых твоих пращуров
Я велю тебе насмерть стоять!

Февраль 1942

МАТЬ

Война пройдет — и слава богу.
Но долго будет детвора
Играть в «воздушную тревогу»
Среди широкого двора.

А мужики, на бревнах сидя,
Сочтут убитых и калек
И, верно, вспомнят о «планиде»,
Под коей, дескать, человек.

Старуха ж слова не проронит!..
Отворотясь, исподтишка
Она глаза слепые тронет
Каймою черного платка...

30 ноября 1941



РОДИНА

Весь край этот, милый навеки,
В стволах белокорых берез,
И эти студеные реки,
У плеса которых ты рос.

И темная роща, где свищут
Всю ночь напролет соловьи,
И липы на старом кладбище,
Где предки уснули твои.

И синий ласкающий воздух,
И крепкий загар на щеках,
И деды в андреевских звездах,
В высоких седых париках.

И рожь на полях непочатых,
И эта хлеб-соль средь стола,
И псковских соборов стрельчатых
Причудливые купола.

И фрески Андрея Рублева
На темной церковной стене,
И звонкое русское слово,
И в чарочке пенник на дне.

И своды лабазов просторных,
Где в сене — раздолье мышам,
И эта — на ларчиках черных —
Кудрявая вязь палешан.

И дети, что мчатся, глазаея,
По следу солдатских колонн,
И в старом полтавском музее
Полотнища шведских знамен.

И санки, чтоб вихрем летели!
И волка опасливый шаг,
И серьги вчерашней метели
У зябких осинок в ушах.

И ливни — такие косые,
Что в поле не видно ни зги...
Запомни:
Всё это — Россия,
Которую топчут враги.

16 августа 1942



КОЛОКОЛ

В колокол, мирно дремавший,
Тяжелая бомба с размаха
Грянула...

А. К. Толстой

В тот колокол, что звал народ на вече,
Вися на башне у кривых перил,
Попал снаряд, летевший издалече,
И колокол, сердясь, заговорил.

Услышав этот голос недовольный,
Бас, потрясавший медное нутро,
В могиле вздрогнул мастер колокольный,
Смешавший в тигле медь и серебро.

Он знал, что в дни, когда стада тучнели
И закрома ломились от добра,
У колокола в голосе звенели
Малиновые ноты серебра.

Когда ж врывались в Новгород соседи
И был весь город пламенем объят,
Тогда глубокий звон червонной меди
Звучал, как ныне... Это был набат!

Леса, речушки, избы и покосцы
Виднелись с башни каменной вдали.
По большакам сновали крестonosцы,
Скот уводили и амбары жгли...

И рухнули перил столбы косые,
И колокол гудел над головой
Так, словно то сама душа России
Своих детей звала на смертный бой!

30 августа 1942



КРАСОТА

Эти гордые лбы винчианских мадонн
Я встречал не однажды у русских крестьянок.
У рязанских молодок, согбленных трудом,
На току молотивших снопы спозаранок.

У вихрастых мальчишек, что ловят грачей
И несут в рукаве полушубка отцова,
Я видал эти синие звезды очей,
Что глядят с вдохновенных картин Васнецова.

С большака перешли на отрезок холста
Бурлаков этих репинских ноги босые...
Я теперь понимаю, что вся красота —
Только луч того солнца, чье имя — Россия!

5 сентября 1942

АЛЕНУШКА

Стойбище осеннего тумана,
Вотчина ночного соловья,
Тихая царица Несмеяна —
Родина неяркая моя!

Знаю, что не раз лихая сила
У глухой околицы в лесу
Ножичек сапожный заносила
На твою нетленную красу.

Только всё ты вынесла и снова
За раздольем нив, где зреет рожь,
На пенёчке у омута лесного
Песенку Аленушки поешь...

Я бродил бы тридцать лет по свету,
А к тебе вернулся б умирать,
Потому что в детстве песню эту,
Знать, и надо мной певала мать!

9 октября 1942



• УЗЕЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Через лужок, наискосок
От точки огневой,
Шумит молоденький лесок,
Одевшийся листвою.

Он весь — как изумрудный дым,
И радостно белы
Весенним соком молодым
Налитые стволы.

Весь день на солнце знай лежи!..
А в роще полутьма.
Там сходят пьяные чижи
От радости с ума.

Мне жар полдневный не с руки.
Я встану и пойду
Искать вдоль рощи васильки,
Подсвистывать дрозду.

Но поднимись не то что сам —
Из ямы выставь жердь —
И сразу к птичьим голосам
Прибавит голос смерть.

ДМИТРИЙ КЕДРИН

Откликнется без долгих слов
Ее глухой басок
Из-за березовых стволов,
С которых каплет сок.

Мне довелось немало жить,
Чтоб у того узла
Узнать, что гибель может быть
Так призрачно бела!

, 1943

СОЛДАТКА

Ты всё спала. Всё кислого хотела.
Всё плакала. И скоро поняла,
Что и медлительна и полнотела
Вдруг стала оттого, что — тяжела.

Была война. Ты, трудно подбоченясь,
Несла ведро. Шла огород копать.
Твой бородатый ратник-ополченец
Шагал по взгорьям ледяных Карпат.

Как было тяжело и как несладко!
Всё на тебя легло: топор, игла,
Корыто, печь... Но ты была солдаткой,
Великорусской женщиной была.

Могучей, умной, терпеливой бабой
С нечастыми сединками в косе...
Родился мальчик. Он был теплый, слабый,
Писклявый, красный, маленький, как все.

Как было хорошо меж сонных губок
Вложить ему коричневый сосок
Набухшей груди, полной, словно кубок,
На темени пригладить волосок,

Прислушаться, как он сосет, перхая,
Уставившись неведомо куда,
И нянчиться с мальчишкой, отдыхая
От женского нелегкого труда...

А жизнь тебе готовила отместку:
Из волостной управы понятой
В осенний день принес в избу повестку.
Дурная весть была в повестке той!

В ней говорилось, что в снегах горбатых,
Зарыт в могилу братскую, лежит,
Германцами убитый на Карпатах,
Твой работающий пожилой мужик.

А время было трудное!.. Бывало,
Стирала ты при свете ночника
И что могла для сына отрывала
От своего убогого пайка.

Всем волновалась: ртом полуоткрытым,
Горячим лбом, испариной во сне.
А он хворал. Краснухой. Дифтеритом.
С другими малышами наравне.

Порою из рогатки бил окошки,
И люди говорили: «Ох, бедов!»
Порою с ходу прыгал на подножки
Мимо идущих скорых поездов...

Мальчишка вырос шустрый, словно чижик,
Он в школу не ходил, а неся вскачь.



Ах, эта радость первых детских книжек
И горечь первых школьных неудач!

А жизнь вперед катилась час за часом.
И вот однажды, раннею весной,
Ломающимся юношеским басом
Заговорил парнишка озорной.

И всё былое горе малой тучкой
Представилось тебе, когда сынок
Принес, богатый первою получкой,
Тебе в подарок кубовый платок.

Ты стала дряхлая, совсем седая...
Тогда ухватами в твоей избе
Загрохала невестка молодая.
Вот и нашлась помощница тебе!

А в уши всё нашептывает кто-то,
Что краток день счастливой тишины:
Есть материнства женская работа
И есть мужской тяжелый труд войны.

Недаром сердце ныло, беспокоясь:
Она пришла, военная страда.
Сынка призвали. Дымный красный поезд
Увез его неведомо куда.

В тот день в прощальной суете вокзала,
Простоволоса и как мел бела,
Твоя сноха заплакала, сказала,
Что от него под сердцем понесла.

А ты, очки связав суровой ниткой,
Гадала: мертвый он или живой?
И по́долгу сидела над открыткой
С неясным штампом почты полевой.

Но сын умолк. Он в воду канул будто!
Что говорить? Беда приходит вдруг!
Какой фашист перечеркнул в минуту
Все двадцать лет твоих надежд и мук?

Твой мертвый сын лежит в могиле братской,
Весной ковыль начнет над ним расти.
И внятный голос с хрипотцой солдатской
Меня ночами просит: «Отомсти!»

За то, что в землю ржавую лопатой
Зарыта юность светлая моя,
За старика, что умер на Карпатах
От той же самой пули, что и я.

За мать, что двадцать лет, себе на горе,
Промаялась бесплодной маемой,
За будущего мальчика, что вскоре
На белый свет родится сиротой!

Ей будет нелегко его баюкать:
Она одна. Нет мужа. Сына нет...
Разбойники! Они убьют и внука —
Не через год, так через двадцать лет!..



И все орудья фронта, каждый воин,
Все бессемеры тыла, как один,
Солдату отвечают: «Будь спокоен!
Мы отомстим! Он будет жить, твой сын!»

Он будет жить! В его могучем теле
Безоблачно продлится жизнь твоя.
Ты пал, чтоб матери не сиротели
И в землю не ложились сыновья!

16—19 февраля 1944

* * *

Всё мне мерещится поле с гречихою,
В маленьком доме сирень на окне,
Ясное-ясное, тихое-тихое
Летнее утро мерещится мне.

Мне вспоминается кляча чубарая,
Аист на крыше, скирды на гумне,
Темная-темная, старая-старая
Церковка наша мерещится мне.

Чудится мне, будто песню печальную
Мать надо мною поет в полусне,
Узкая-узкая, дальняя-дальняя
В поле дорога мерещится мне.

Где ж этот дом с оторвавшейся ставнею,
Комната с пестрым ковром на стене?
Милое-милое, давнее-давнее
Детство мое вспоминается мне.

13 мая 1945



Я

Много видевший, много знавший,
Знавший ненависть и любовь,
Всё имевший, всё потерявший
И опять всё нашедший вновь.

Вкус узнавший всего земного
И до жизни жадный опять,
Обладающий всем и снова
Всё стремящийся потерять.

Июнь 1945

ПРИГЛАШЕНИЕ НА ДАЧУ

...Итак, приезжайте к нам завтра, не позже!
У нас васильки собирай хоть охапкой.
Сегодня прошел замечательный дождик —
Серебряный гвоздик с алмазною шляпкой.

Он брызнул из маленькой-маленькой тучки
И шел специально для дачного леса,
Раскатистый гром — его верный попутчик —
Над ним хохотал, как подпивший повеса.

На Пушкино в девять идет электричка.
Послушайте, вы отказаться не вправе:
Кукушка снесла в нашей роще яичко,
Чтоб вас с наступающим счастьем поздравить!

Не будьте ленивы, не будьте упрямы,
Пораньше проснитесь, не мешкая встаньте.
В кокетливых шляпах, как модные дамы,
В лесу мухоморы стоят на пуанте.



Вам будет на сцене лесного театра
Вся наша программа показана разом:
Чудесный денек приготовлен на завтра,
И гром обеспечен, и дождик заказан.

6 июля 1945



БОРИС КОРНИЛОВ

1907—1938



Борис Петрович Корнилов родился в с. Покровском Нижегородской губернии в семье учителей. Детство его прошло в д. Дьяково, затем в г. Семенове, где он стал одним из первых пионеров города, потом работником укома комсомола. Рано начал писать стихи, песни. В 1925 году в нижегородской газете «Молодая рать» впервые опубликовался — стихотворение «На моря».

В 1925 г. Б. Корнилов приехал в Ленинград. Первый поэтический сборник, «Молодость», вышел в 1928 г., затем выходят одна за другой книги (иногда по две в год). В 1932 г. прозвучала с экрана его «Песня о встречном» (муз. Д. Шостаковича). В это время он пишет много массовых песен («Октябрьская», «Интернациональная», «Комсомольская краснофлотская...»). В 1934 г. Б. Корнилов создал свою лучшую поэму «Триполье» — о подвигах украинских комсомольцев в гражданской войне. Она принесла ему всесоюзную известность, поэт читал ее перед ЦК комсомола. Он много ездит по стране, печатается в «Известиях», «Новом мире». В 1934 г. на Всесоюзном съезде писателей его объявляют «надеждой советской литературы». В 1935 г. поэт печатает проникнутую интернациональным пафосом поэму «Моя Африка», о ней писал в статье «Европейский дух» Ромен Роллан. Многие было Б. Корниловым создано, многое начато, многое задумано, но трагическая гибель молодого поэта не дала возможности этому яркому, своеобразному и могучему таланту развернуться в полную силу



Усталость тихая, вечерняя
Зовет из гула голосов
В Нижегородскую губернию
И в синь Семеновских лесов.

Сосновый шум и смех осиновый
Опять кулигами пройдет.
Я вечера припомню синие
И дымом пахнувший омет.

Березы нежной тело белое
В руках увижу ложкаря,
И вновь непочатая, целая
Заколыхается заря.

Ты не уйдешь, моя сосновая,
Моя любимая страна!
Когда-нибудь, но буду снова я
Бросать на землю семена.

Когда хозяйки хлопнут ставнями
И отдых скрюченным рукам,
Я расскажу про город каменный
Седым, угрюмым старикам.

Познаю вновь любовь вечернюю,
Уйдя из гула голосов
В Нижегородскую губернию,
В разбег Семеновских лесов.

1925

ЛОШАДЬ

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.

Гладил уши, морду
Тихо гладил
И глядел в печальные глаза.
Был с тобой, как и бывало,
Рядом,
Но не знал, о чем тебе сказать.

Не сказал, что есть другие кони,
Из железа кони,
Из огня...
Ты б меня, мой дорогой, не понял,
Ты б не понял нового меня.

Говорил о полевом, о прошлом,
Как в полях, у старенькой сохи,

Как в лугах немятых и некошенных
Я читал тебе
Свои стихи...

Мне так дорого и так мне любо
Дни мои любить и вспоминать,
Как, смеясь, тебе совал я в губы
Хлеб, что утром мне давала мать.

Потому ты не поймешь железа,
Что завод деревне подарил,
Хорошо которым
Землю резать,
Но нельзя с которым говорить.

Дни-мальчишки,
Вы ушли, хорошие,
Мне оставили одни слова,—
И во сне я рыженькую лошадь
В губы мягкие расцеловал.



* * *

Айда, голубарь,
 пошевеливай, трогай,
Бродяга, — мой конь вороной!
Все люди —
 как люди,
 поедут дорогой,
А мы пронесем стороной.
Чтобы мать не любить
 и красавицу тоже,
Мы, нашу судьбу не кляня,
Себя понесем,
 словно нету дорожке
На свете меня и коня.
Зеленые звезды,
 любимое небо!
Озера, леса, хутора!
Не я ли у вас
 будто был и не был
Вчера и позавчера.
Не я ли прошел —
 не берег, не лелеял?
Не я ли махнул рукой
На то, что зари не нашел алее?
На то, что девчат не нашел милее?

И волости — вот такой?
А нынче почудилось:
 конь, бездорожье,
Бревенчатый дом на реку, —
И нет ничего,
 и не сыщешь дорожке
Такому, как я, — дураку...

1927



* * *

Похваляясь любовью недолгой,
растопыривши крылышки в ряд,
по ночам, застывая над Волгой,
соловьи запевают не в лад.

Соловьи, над рекой тараторя,
разлетаясь по сторонам,
города до Каспийского моря
называют по именам.

Ни за что пропадает кустарь в них,
ложки делает, пьет вино.
Перебитый в суставах кустарник
ночью рушится на окно.

Звезды падают с ребер карнизов,
а за городом, вдалеке, —
тошнотворный черемухи вызов,
весла шлепают на реке.

Я опять повстречаю ровно
в десять вечера руки твои.
Про тебя, Александра Петровна,
заливают всю соловьи.

Ты опустишь тяжелые веки,
пропотевшая,
тяжко дыша...
Погляди —
мелководные реки
машут перьями камыша.

Александра Петровна,
послушай, —
эта ночь доведет до беды,
придавившая мутною тушей
наши крошечные сады.

Двинут в берег огромные бревна
с грозной песней плотовщики.
Я умру, Александра Петровна,
у твоей побледневшей щеки.

• • • • •
Но ни песен, ни славы, ни горя,
только плотная ходит вода,
и стоят до Каспийского моря,
засыпая всю, города.

Февраль 1929



КАЧКА НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ

За кормою вода густая —
солона она, зелена,
неожиданно вырастая,
на дыбы поднялась она,
и, качаясь, идут валы
от Баку
до Махач-Калы.

Мы теперь не поем, не спорим —
мы водою увлечены;
ходят волны Каспийским морем
небывалой величины.

А потом —
затишают воды —
ночь каспийская,
мертвая зыбь;
знаменуя красу природы,
звезды высыпали, как сыпь;
от Махач-Калы
до Баку
луны плавают на боку.



Стынет соль
девятого пота
на протравленной коже спины,
и качает меня работа
лучше спирта
и лучше войны.
Что мне море?
Какое дело
мне до этой
зеленой беды?

Соль тяжелого, сбитого тела
солонее морской воды.

Что мне (спрашиваю я), если
наши зубы
как пена белы —
и качаются наши песни
от Баку
до Махач-Калы.

1930

Каспийское море—Волга

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
МОИМ ПРИЯТЕЛЯМ

Всё те же мы: нам целый мир—
чужбина;
Отечество нам Царское Село.

А. С. Пушкин

1

Мне дорожка в молодость
издавна знакома:
тут смешок,

тут выпивка,

но в конце концов —

все мои приятели —
всё бюро райкома —
Лешка Егоров,
Мишка Кузнецов,
комсомольцы Сормова, —
ребята —

иже с ними.

Я — такой же аховый —
парень-вырви-гвоздь...

Точка —

снова вижу вас
глазами косыми
через пятилетье, большое насквозь.



Ох, давно не виделись, чертовы куклы, мы,
посидеть бы вместе,
покурить махры,
вспомнить, между прочим,
что были мы пухлыми
мальчиками-с-пальчиками —
не хухры-мухры.

В голос песни пели,
каблуками стукали,
только от мороза на щеке слеза.
Васька Молчанов —
ты ли мне не друг ли?
Хоть бы написал товарищу разá.

Как писали раньше:
так-то вот и так-то...
живу, поживаю —
как на небеси...
Повстречал хорошенькую —
полюбил де-факто,
только не де-юре — боже упаси.

2

Утренняя изморозь —
плохая погода,
через пень-колоду, в опорках живем,
снова дует ветер двадцатого года —
батальоны ЧОНа
стоят под ружьем.

А в лесу берлоги,
мохнатые ели,
чертовы болота,
на дыре — дыра,
и лесные до смерти бандиты надоели,
потому бандитам помирать пора.
Осенью поляны

Ишь ты,
поди ж ты,
что же говоришь ты —
ты ль меня,
я ль тебя,
молодой бандит.

Точка —
ночью звезды
тлеют, как угли,
с ЧОНа отечество
идет, как с туза...



3

Вы на партработе —

тяжелое дело

брать за манишку бредущих наугад,
как щенков натаскивать,
чтобы завертело
в грохоте ударных и сквозных бригад.
Я сижу и думаю —

мальчики что надо,

каждый знает дело,

не прет на авось,—

«Молодость и дружба» —

сквозная бригада

через пятилетье, большое насквозь.

4

Предположим вызов.

Военное времечко —

встанут на границах особые полки.

Офицеру в темечко

влипнет, словно семечко,

разрывная пуля из нашей руки.

Всё возьмем нахрапом —

разорвись и тресни,

генерал задрипанный, замри на скаку...

Может, так и будет,

как поется в песне:

«Были два товарища

в одном они полку...»

5

Слова-ребятишки
падают, как шишки, —
все мы дело делаем,
как и до сих пор;
думку о разлуке вытрави и выжги,
дело — наша встреча,
веселый разговор.

Мы повсюду вместе —
мальчики что надо,
будьте покойнички,
каждый — вырви-гвоздь...
«Молодость и дружба» —
сквозная бригада
через пятилетье, большое насквозь.

Всё на плечи подняли
и в работу взяли,
с дружбы и молодости
ходим, как с туза...

Милые приятели —
вы ли не друзья ли?
Хоть бы написали товарищу разá.

(1931)



ПЕСНЯ О ВСТРЕЧНОМ

Нас утро встречает прохладой,
Нас ветром встречает река.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?

Не спи, вставай, кудрявая!
В цехах звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И радость поет, не скончая,
И песня навстречу идет,
И люди смеются, встречая,
И встречное солнце встает.

Горячее и бравое,
Бодрит меня.
Страна встает со славою
На встречу дня.

Бригада нас встретит работой,
И ты улыбнешься друзьям,
С которыми труд и забота,
И встречный, и жизнь — пополам.

За Нарвскою заставою,
В громах, в огнях,
Страна встает со славою
На встречу дня.

И с ней до победного края
Ты, молодость наша, пройдешь,
Покуда не выйдет вторая
Навстречу тебе молодежь.

И в жизнь вбежит оравую,
Отцов сменя.
Страна встает со славою
На встречу дня.

...И радость никак не запрятать,
Когда барабанщики бьют:
За нами идут октябрюта,
Картавые песни поют.

Отважные, картавые,
Идут, звеня.



Страна встает со славою
На встречу дня!

Такою прекрасною речью
О правде своей заяви.
Мы жизни выходим навстречу,
Навстречу труду и любви!

Любить грешно ль, кудрявая,
Когда, звеня,
Страна встает со славою
На встречу дня.

1932

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Я нюхал казарму, я знаю устав,
я жизнь проживу по уставу:
учусь ли, стою ль на посту у застав —
везде подчинен комсоставу.

Горит надо мною штыка острие,
военная дует погода, —
тогда непосредственное мое
начальство — товарищ комвзвода.

И я, поднимаясь над уймой забот,
я — взятый в работу крутую —
к тебе заявляюсь, товарищ комвзвод,
тебе обо всем рапортую.

И, помня наказ обстоятельный твой,
я верен, как пули комочек,
я снова в работе, боец рядовой,
товарищ, поэт, пулеметчик.

Я знаю себя и походку свою,
я молод, настойчив, не робок,
и если погибну, погибну в бою
с тобою, комвзвода, бок о бок.



Восходит сияние летнего дня,
хорошую красит погоду,
и только не видно тебя и меня,
товарищей наших по взводу.

Мы в мягкую землю ушли головой,
нас тьма окружает глухая,
мы тонкой во тьме прорастаем травой,
качаясь и благоухая.

Зеленое, скучное небытие,
хотя бы кровинкою брызни,
достоинство наше — твое и мое —
в другом продолжении жизни.

Всё так же качаются струи огня,
военная дует погода,
и вывел на битву другого меня
другой осторожный комвзвода.

За ними встревожена наша страна,
где наши поля и заводы:
затронута черным и смрадным она
дыханьем военной погоды.

Что кровно и мне и тебе дорога,
сиреной приглушенно воя,
громадною силой идет на врага
по правилам тактики боя.

Врага окружая огнем и кольцом,
медлительны танки, как слизи,

идут коммунисты, немея лицом,—
мое продолжение жизни.

Я вижу такое уже наяву,
хотя моя участь иная,—
выходят бойцы, приминая траву,
меня сапогом приминая.

Но я поднимаюсь и снова расту,
темнею от моря до моря.
Я вижу земную мою красоту
без битвы, без крови, без горя.

Я вижу вдали горизонты земли —
комбайны, качаясь по краю,
ко мне, задыхаясь, идут...
Подошли.
Тогда я совсем умираю.

(1932)



ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ

Ребята, на ходу — как мы были в плену —
немного о войне поговорим...

В двадцатом году
шел взвод на войну,
а взводным нашим Вася Головин.
Ать, два...

И братва басила —
бас не изъян:
— Да здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

В ближайшем бою к нам идет офицер
(англичане занимают край),
и томми нас берут на прицел.
Офицер говорит: Олл райт...
Ать, два...

Это смерти сила
грозит друзьям,
но — здравствует Россия,
Советская Россия,
Россия рабочих и крестьян!

Стояли мы под дулами —
не охали, не ахали,
но выступает Вася Головин:
— Ведь мы такие ж пахари,
как вы, такие ж пахари,
давайте о земле поговорим.
Ать, два...

Про самое, про это, —
буржуй, замри, —
да здравствует планета,
да здравствует планета,
планета наша, полная земли!

Теперь про офицера я...
Каким он ходит пупсиком —
понятно, что с работой незнаком.
Которые тут пахари —
ударь его по усикам
мозолями набитым кулаком.
Ать, два...

Хорошее братание
совсем не изъян —
да здравствует Британия,
да здравствует Британия,
Британия рабочих и крестьян!

Офицера пухлого берут на бас,
и в нашу пользу кончен спор.
Мозоли переводчики промежду нас —
помогают вести разговор.
Ать, два...



Нас томми живо поняли —
и песни по кустам...
А как насчет Японии?
Да здоровствует Япония,
Япония рабочих и крестьян!

Ребята, ну...
Как мы шли на войну,
говори — полыхает закат...
Как мы песню одну,
настоящую одну
запевали на всех языках.
Ать, два...

Про одно про это
ори друзьям:
Да здоровствует планета,
да здоровствует планета,
планета рабочих и крестьян!

1932

* * *

Ты шла ко мне пушистая, как вата,
тебя, казалось, тишина вела,—
последствиями малыми чревата
с тобою встреча, Аннушка, была.

Но все-таки
своим считаю долгом
я рассказать, ни крошки не тая,
о нашем и забавном и недолгом
знакомстве,
Анна Павловна моя.

И ты прочтешь.
Воздашь стихотворенью
ты должное...
Воспоминаний рой...
Ты помнишь?
Мы сидели под сиренью,—
конечно же, вечернею порой.

(Так вспоминать теперь никто не может:
у критики характер очень крут...
— Пошлятина,— мне скажут,
уничтожат
и в порошок немедленно сотрут.)

Но продолжаю.
 Это было летом
 (прекрасное оно со всех сторон),
 я, будучи шпаной и пистолетом,
 воображал, что в жизни умудрен.

И модные высвистывал я вальсы
 с двенадцати, примерно, до шести:
 «Где вы теперь?
 Кто вам целует пальцы?»
 И разные:
 «Прости меня, прости...»

Действительно — где ты теперь, Анюта,
 разгуливаешь, по ночам скорбя?
 Вот у меня ни скорби, ни уюта,
 я не жалею самого себя.

А может быть,
 ты выскочила замуж,
 спокойствие и счастье обрела,
 и девять месяцев прошло,
 а там уж
 и первенец —
 обычные дела.

Я скоро в гости, милая, приеду,
 такой, как раньше, —
 с гонором, плохой,
 ты обязательно зови меня к обеду
 и угости ватрушкой и ухой.

Я сына на колене покачаю
(ты только не забудь и позови)...
Потом, вкусив малины,
с медом чаю,
поговорю о «странностях любви».

• 1932



* * *

В Нижнем Новгороде с откоса
чайки падают на пески,
все девчонки гуляют без спроса
и совсем пропадают с тоски.
Пахнет липой, сиренью и мятой,
небывалый слепит колорит,
парни ходят —
картуз помятый, —
папироска во рту горит.

Вот повеяло песней далекой,
ненадолго почудилось всем,
что увидят глаза с поволокой,
позабывшие всеми совсем.
Эти вовсе без края просторы,
где горит палисадник любой.
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.

Влажным ветром пахнуло немного,
легким дымом,

травую сырой,
снова Волга идет, как дорога,
вся покачиваясь под горой.

Снова, тронутый радостью долгой,
я пою, что спокойствие — прах,
что высокие звезды над Волгой
тоже гаснут на первых порах.
Что напрасно, забытая рано,
хороша, молода, весела,
как в несбыточной песне, Татьяна
В Нижнем Новгороде жила.

Вот опять на песках, на паромах
ночь огромная залегла,
дует запахом чахлых черемух,
налетающим из-за угла,
тянет дождиком,
рваную тучей
обволакивает зарю,—
я с тобою на всякий случай
ровным голосом говорю.

Наши разные разговоры,
наши песенки вперебой.
Нижний Новгород,
Дятловы горы,
ночью сумрак чуть-чуть голубой.

(1933)



* * *

Без тоски, без грусти, без оглядки,
сокращая житие на треть,
я хотел бы на шестом десятке
от разрыва сердца умереть.

День бы синей изморозью капал,
небо бы тускнело вдалеке,
я бы, задыхаясь, падал на пол,
кровь еще бежала бы в руке.

Песни похоронные противны.
Саван из легчайшей кисеи.
Медные бы положили гривны
на глаза заплывшие мои.

И уснул я без галлюцинаций,
белый и холодный, как клинок.
От общественных организаций
поступает за венком венок.

Их положат вперемешку, вместе —
к телу собирается народ,
жалко — большинство венков из
жести, —
дескать, ладно, прах не разберет.

Я с таким бы предложеньем вылез
заживо, покуда не угас,
чтобы на живые разорились —
умирают в жизни только раз.

Ну, да ладно. И на том спасибо.
Это так, для пущей красоты.
Вы правы, пожалуй, больше, ибо
мертвому и мертвые цветы.

Грянет музыка. И в этом разе,
чтобы каждый скорбь воспринимал,
все склоняются.
Однообразен
похоронный церемониал.

.
Впрочем, скучно говорить о смерти,
попрошу вас не склонять главу,
вы стихотворению не верьте, —
я еще, товарищи, живу.

Лучше мы о том сейчас напишем,
как по полированным снегам
мы летим на лыжах,
песней дышим
и работаем на страх врагам.

ПРАДЕД

Сосны падают с бухты-баракты,
 расшибая мохнатые лбы,
 из лесов выбегая на тракты,
 телеграфные воют столбы.
 Над неслышной тропой свисая,
 разрастаются деревья,
 дует ветра струя косая,
 и токует тетерева.
 Дым развеян тяжелым полетом
 одряхлевшего глухаря,
 над прогалиной, над болотом
 стынет маленькая заря.
 В этом логове нечисти много —
 лешаки да кликуши одни,
 ночью люди не нашего бога
 золотые разводят огни.
 Бородами покрытые сроду,
 на высокие звезды глядят,
 молча греют вонючую воду
 и картофель печеный едят.
 Молча слушают: ходит дубрава —
 даже оторопь сразу берет,
 и налево идет, и направо
 и ревет, наступая вперед.

Самый старый, огромного роста,
до бровей бородат и усат,
под усами, шипя, как береста,
ядовитый горит самосад.
Это черные трупы растений
разлагаются на огне,
и мохнатые, душные тени
подступают вплотную ко мне.
Самый старый — огромный и рыжий,
прадед Яков идет на меня
по сугробу, осиновой лыжей
по лиловому насту звеня.
Он идет на меня, как на муки,
и глаза прогорают дотла,
горячи его черные руки,
как багровая жижа котла.
— Прадед Яков... Под утро сегодня
здесь, над озером, Керженца близ,
непорочная сила господня
и нечистая сила сошлись.
Потому и ударила вьюга,
черти лысые выли со зла,
и — предвестница злого недуга —
лихоманка тебя затрясла.
Старый коршун — заела невзгода,
как медведь, подступила, сопя.
Я — последний из вашего рода —
по ночам проклиная себя.
Я такой же — с надежной ухваткой,
с мутным глазом и с песней большой,
с вашим говором, с вашей повадкой,
с вашей тягостною душой.



Старый черт, безобразник и бабник,
дни, по-твоему, наши узки,
мало свиста и песен похабных,
мало горя, не больше тоски.
Вы, хлебавшие зелья вдосталь,
били даже того, кто не слаб,
на веку заимели до ста
щекотливых и рыжих баб.
Много тайного кануло в Каму,
в черный Керженец, в забытье,
но не имеет душа твоя сраму,
прадед Яков — несчастье мое.
Старый коршун — заела невзгода,
как мелведь, подступила, сопя.
Я — последний из вашего рода —
по ночам проклиная себя.
Я себя разрываю на части
за родство вековое с тобой,
прадед Яков — мое несчастье, —
снова вышедший на разбой.
Бей же, взявший купца на мушку,
деньги в кучу,
в конце концов
сотню сунешь в церковную кружку:
— На помин убиенных купцов, —
а потом
у своей Парани —
гармонисты,
истошный крик —
снова гирями, топорами
разговоры ведет старик.
Хлещет за полночь воплем и воем,

вы гуляете — звери — ловки,
вас потом поведут под конвоем
через несколько лет в Соловки.
Вы глаза повернете косые,
под конец подводя бытие,
где огромная дышит Россия,
где рождение будет мое.

•
1934

СОЛОВЬИХА

У меня к тебе дела такого рода,
 что уйдет на разговоры вечер весь —
 затвори свои тесовые ворота
 и плотней холстиной окна занавесь.
 Чтобы шли подруги мимо,
 парни мимо
 и гадали бы и пели бы скорбя:
 — Что не вышла под окошко, Серафима?
 Серафима, больно скучно без тебя...
 Чтобы самый ни на есть раскучерявый,
 рвя по вороту рубахи алый шелк,
 по селу Ивано-Марьину с оравой
 мимо окон под гармонику прошел.
 Он всё тенором,
 всё тенором,
 со злобой
 запевал — рука протянута к ножу:
 — Ты забудь меня, красавица,
 попробуй...
 Я тебе тогда такое покажу...
 Если любишь хоть всего наполовину,
 подожду тебя у крайнего окна,
 постелю тебе пиджак на луговину
 довоенного и тонкого сукна.

А земля дышала, грузная от жиру,
и от омута Соминого левей
соловьи сидели молча по ранжиру,
так что справа самый старый соловей.
Перед ним вода — зеленая, живая,
мимо заводов несется напролом —
он качается на ветке, прикрывая
соловьишу годовалую крылом.
И трава грозой весеннею измята,
дышит грузная и теплая земля,
голубые ходят в омуте сомята,
поларшинными усами шевеля.
А пиявки, раки ползают по илу,
много ужаса вода в себе таит —
щука — младшая сестрица крокодилу —
неживая возле берега стоит...
Соловьиша в тишине большой и душной...

Вдруг ударил золотистый вдалеке,
видно, злой и молодой и непослушный,
ей запел на соловьином языке:
— По лесам,
на пустырях
и на равнинах
не найти тебе прекраснее дружка —
принесу тебе яичек муравьиных,
нациплю в постель я пуху из брюшка.
Мы постелем наше ложе над водою,
где шиповники все в розанах стоят,
мы помчимся над грозой, над бедою
и народим два десятка соловьят.
Не тебе прожить, без радости старея,



ты, залетная, ни разу не цвела,
вылетай же, молодая, поскорее
из-под старого и жесткого крыла.

И молчит она,
всё в мире забывая,—
я за песней, как за гибелью, слежу...

Щаль накинута на плечи пуховая...

— Ты куда же, Серафима?

— Ухожу.—

Кисти шали, словно перышки, расправя,
влюблена она,
красива,
нехитра —
улетела.

Я держать ее не вправе —
просижу я возле дома до утра.

Подожду, когда заря сверкнет по стеклам,
золотая сгаснет песня соловья —

пусть придет она домой

с красивым,

с теплым,—

меркнут глаз его татарских лезвия.

От нее и от него

пахнуло мятой,

он прощается

у крайнего окна,

и намок в росе

пиджак его измятый

довоенного и тонкого сукна.

5 апреля 1934

ВЕЧЕР

Гуси-лебеди пролетели,
чуть касаясь крылом воды,
плакать девушки захотели
от неясной еще беды.
Прочитай мне стихотворенье,
как у нас вечера свежи,
к чаю яблочного варенья
мне на блюдечко положи.
Отчаевничали, отгуляли,
не пора ли, родная, спать,—
спят ромашки на одеяле,
просыпаются ровно в пять.
Вечер тонкий и комариный,
погляди, какой расписной,
завтра надо бы за малиной,
за пахучею,
за лесной.
Погуляем еще немного,
как у вас вечера свежи!
Покажи мне за ради бога,
где же Керженская дорога,
обязательно покажи.
Постоим под синей звездой.
День ушел со своей маемой.



Я скажу, что тебя не стою,
что тебя называл не той.
Я свою называю куклой —
брови выщипаны у ней,
губы крашены спелой клюквой,
а глаза синева синей.
А душа — я души не знаю.
Плечи теплые хороши.
Земляника моя лесная,
я не знаю ее души.
Вот уеду. Святое слово,
не волнуясь и не любя,
от Ростова до Бологого
буду я вспоминать тебя.
Золотое твое варенье,
кошку рыжую на печи,
птицу синего оперения,
запевающую в ночи.

30 сентября 1934

Н. Петергоф

ПРОЩАНИЕ

На краю села большого —
пятистенная изба...
Выйди, Катя Ромашова, —
золотистая судьба.
Косы русы,
кольца,
бусы,
сарафан и рукава,
и пройдет, как солнце в осень,
мимо песен,
мимо сосен, —
поглядите, какова.
У зеленого причала
всех красивее была, —
сто гармоник закричало,
сто девчонок замолчало —
это Катя подошла.
Пальцы в кольцах,
тело бело,
кровь горячая весной,
подошла она,
пропела:
— Мир компании честной.
Холостых трясет
и вдовых,

соловьи молчат в лесу,
 полкило конфет медовых
 я Катюше поднесу.
 — До свидания,— скажу,
 я далёко ухожу...
 Я скажу, тая тревогу:
 — Отгуляли у реки,
 мне на дальнюю дорогу
 ты оладий напеки.
 Провожаешь холостого,
 горя не было и нет,
 я из города Ростова
 напишу тебе привет.
 Опишу красивым словом,
 что разлуке нашей год,
 что над городом Ростовом
 пролетает самолет.
 Я пою разлуке песни,
 я лечу, лечу, лечу,
 я летаю в поднебесье —
 петли мертвые кручу.
 И увижу, пролетая,
 в светло-розовом луче:
 птица — лента золотая —
 на твоём сидит плече.
 По одной тебе тоскую,
 не забудь меня — молю,
 молодую,
 городскую
 никогда не люблю...
 И у вечера большого,
 как черемуха встает,

плачет Катя Ромашова,
Катя песен не поет.
Провожу ее до дому,
сдам другому, молодому.
— До свидания, — скажу, —
я далёко ухожу...
Передай поклоны маме,
попрощайся из окна...
Вся изба в зеленой раме,
вся сосновая она,
петухами и цветами
разукрашена изба,
колосками,
васильками —
сколь искусная резьба!
Молодая яблонь тает,
у реки поет народ.
Над избой луна летает,
Катя плачет у ворот.

17 ноября 1934



КОМАНДАРМ

Вот глаза закроешь —
и полвека
на рысях пройдет передо мной,
половина жизни человека,
дымной опаленная войной.
Вот глаза закроешь только —
снова
синих сабель полыхает лед,
и через Галицию до Львова
конница Республики идет.
Кони в яблоках и вороные,
дробь копыт размашистых глуха,
запевают песню головные,
все с кубанским выдохом на ха:
— һады отовсюду, но не даром
длинных сабель развернулся ряд,
бурка крыльями над командармом,
и знамена грозные горят.
Под Воронежем
и под Касторной
всё в пороховом дыму серо,
и разбиты Мамонтов
и черный
наголову
генерал Шкуро.

Это над лошажьей мордой дикой
на врага,
привстав на стремяна,
саблею ударила
и пикой
полстраны,
коли не вся страна.
Скóлько их сияло,
сабель острых,
сколько пик поломано —
о том
может помнить Крымский полуостров,
Украина, и Кубань, и Дон.
Не забудем, как в бою угарно,
как ходили красные полки,
как гуляла сабля командарма —
продолжение его руки.
Командарм —
теперь такое дело —
свищет ветер саблею кривой,
пятьдесят сражений пролетело
над твоею славной головой.
И опять — под голубою высю
через горы, степи и леса,
молодость раскачивая рысью,
конные уходят корпуса.
Песня под копытами пылится,
про тебя дивизия поет —
хлеборобу ромбы на петлицы
только революция дает.
Наша революция,
что с бою



всё взяла,
чей разговор не стих,
что повсюду и всегда с тобою
силою луганских мастерских.
И когда ее опять затронут
яростным дыханием огня —
хватит песен,
сабель
и патронов,
за тобой мы сядем на коня
и ударим:
— С неба полуденного...
Свистнут пальцы с левого крыла —
это значит — песня про Буденного
впереди конармии пошла.

1934



ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

1910—1937



Павел Николаевич Васильев родился в г. Зайсане близ Семипалатинска в семье учителя. Учился в Петропавловске, Павлодаре; в 1925 г. окончил среднюю школу в Омске. В 1926 г. поступил во Владивостоке в университет на отделение восточных языков. Работал матросом на торговом судне, в артели старателей на золотых приисках.

Первое стихотворение написал в 1921 г. 6 ноября 1926 г. первая публикация — стихотворение «Октябрь» (во владивостокской газете «Красный молодец»).

С 1927 г. жил в Новосибирске, Омске, много путешествовал по Сибири, работал старателем, экспедитором на золотых приисках. Это время описано им в книгах «В золотой разведке» (1930) и «Люди в тайге» (1931). С осени 1929 г. П. Васильев живет в Москве, учится на Высших государственных литературных курсах, много ездит по стране, готовит к изданию свой первый поэтический сборник «Путь на Семиге», печатается во многих журналах, становится широкоизвестным поэтом.

С особой силой талант П. Васильева проявился в его эпических произведениях. За короткий срок, с 1933 по 1937 г., им были написаны поэмы «Соляной бунт», «Синицын и К⁰», «Лето», «Кулаки», «Принц Фома», «Автобиографические главы», «Христолюбовские ситцы», и только одна из них. «Соляной бунт», — единственная, поэтическая книга, изданная (в 1935 г.) при жизни П. Васильева.



БУХТА

...Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого мне кажется — она
Вздрагивает синими плечами.

Белым шарфом пена под веслом,
Темной шалью небо надо мною...
Ну о чем еще, скажи, о чем
Можно петь под эту луную?

Хоть проси меня, хоть не проси
Взглядом и рукой усталой,
Всё равно не хватит сил,
Чтобы эта песня замолчала.

Всё равно в расцвеченный узор
Звезды бусами стеклянными упали...
Этот неба шелковый ковер,
Ты скажи, не в Персии ли ткали?

И признайся мне, что хорошо
Вот таким, без шума и ошибок,
Задевать лицом за лунный шелк
И купаться в золоте улыбок.

Знаешь, мне хотелось, чтоб душа
Утонула в небе или в море
Так, чтоб можно было вовсе не дышать,
Растворившись без следа в просторе.

Так, чтоб всё растаяло, ушло,
Как вот эти голубые тени...
...Не торопится тяжелое весло
Воду возле борта вспенить...

Бухта тихая до дна напоена
Лунными, иглистыми лучами,
И от этого мне кажется — она
Вздрагивает синими плечами.

Октябрь 1926

Владивосток



* * *

Все так же мирен листьев тихий шум,
И так же вечер голубой беспечен,
Но я сегодня полон новых дум,
Да, новых дум я полон в этот вечер.

И в сумраке слова мои звенят —
К покою мне уж не вернуться скоро.
И окровавленным упал закат
В цветном дыму вечернего простора.

Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.

Пусть жизнь глядит холодною порой,
Пусть жизнь глядит порой такую злою,
Огонь во мне, затепленный тобой,
Не затушу и от людей не скрою.

И не пройду я отвернувшись, нет,
Вот этих лет волнующихся — мимо.
Мне электрический веселый свет
Любезнее очей любимой.

Я не хочу и не могу молчать,
Я не хочу остаться постояльцем,
Когда к Республике протягивают пальцы,
Чтоб их на горле повернее сжать.

Республика, я одного прошу:
Пусти меня в ряды простым солдатом.
...Замолк деревьев переливный шум,
Утих разлив багряного заката.

Но нет вокруг спокойствия и сна.
Угрюмо небо надо мной темнеет,
Всё настороженнее тишина,
И цепи туч очерчены яснее.

(1927)



СИБИРЬ

Сибирь, настанет ли такое,
Придет ли день и год, когда
Вдруг зашумят, уставши от покоя,
В бетон наряженные города?

Я уж давно и навсегда бродяга.
Но верю крепко: повернется жизнь,
И средь тайги сибирские Чикаго
До облаков поднимут этажи.

Плывут и падают высокие закаты
И плавают краски на зеленом льду.
Трясет рогами испуганный сохатый
И громко фыркает, почуявши беду.

Всё дальше вглубь теперь уходят звери,
Но не уйти им от своей судьбы.
И старожилы больше уж не верят
В давно пропетую и каторжную быль.

Теперь иные подвиги и вкусы.
Моя страна, спеши сменить скорей
Те бусы
Из клыков зверей —
На электрические бусы!..

(1928)



АЗИАТ

Ты смотришь здесь совсем чужим,
Недаром бровь тугую супишь.
Ни за какой большой калым
Ты этой женщины не купишь.
Хоть волос русый у меня,
Но мы с тобой во многом схожи:
Во весь опор пустив коня,
Схватить земли смогу я тоже.
Я рос среди твоих степей,
И я, как ты, такой же гибкий.
Но не для нас цветут у ней
В губах подкрашенных улыбки.
Вот погоди,— другой придет,
Он знает разные манеры
И вместе с нею осмеет
Степных, угрюмых кавалеров.
И этот узел кос тугой
Сегодня ж, может быть, под вечер
Не ты, не я, а тот, другой
Распустит бережно на плечи.
Встаешь, глазами засверкав,
Дрожа от близости добычи.
И вижу я, как свой аркан
У пояса напрасно ищешь.

Здесь люди чтут иной закон
И счастье ловят не арканом!

.
По гривам ветреных песков
Пройдут на север караваны.
Над пестрою кошмой степей
Заря поднимет бубен алый.
Где ветер плещет гибким талом,
Мы оседлаем лошадей.
Дорога гулко зазвенит,
Горячий воздух в ноздри хлынет,
Спокойно лягут у копыт
Пахучие поля полыни.
И там, в предгории Алтая,
Мы будем гости в самый раз.
Степная девушка простая
В родном ауле встретит нас.
И в час, когда падут туманы
Ширококрылой стаей вниз,
Мы будем пить густой и пьяный
В мешках бушующий кумыс.

(1928)



СЕСТРА

В луговинах по всей стране
Рыжим ветром шумят костры,
И, от голода осатанев,
Начинают петь комары.
На хребтах пронося траву,
Осетры проходят на юг,
И за ними следом плывут
Косяки тяжелых белуг.
Ярко-красный теряет пух
На твоём полотенце петух.
За твоим порогом — река,
Льнут к окну твоему облака,
И поскрипывает, чуть слышна,
Половицами тишина.
Ой, темно иртышское дно, —
Отвори, отвори окно!
Слушай, как водяная мышь
На поёмах грызет камыш.
И спокойна вода, и вот
Молчаливая тень скользнет:
Это синие стрелы щук
Бороздят лопухи излук,
Это всходит вода ясней
Звонкой радугой окуней.
...Ночь тиха, и печаль остра,
Дай мне руки твои, сестра.

Твой родной постаревший дом
Пахнет медом и молоком.
Наступил нашей встречи срок,
Дай мне руки, я не остыл,
Синь махорки моей — дымок
Пусть взойдет, как тогда всходил.
Под резным глухим потолком
Пусть рассеется тонкий дым,
О далеком и дорогом
Мы с тобою поговорим.
Горячей шумит разговор, —
Вот в зеленых мхах и лугах
Юность мчится во весь опор
На крутых степных лошадях.
По траве, по корявым пням
Юность мчится навстречу нам,
Расплеснулись во все концы
С расписной дуги бубенцы!
Проплывает туман давно,
Отвори, отвори окно!
Слушай, как тальник, отсырев,
Набирает соки заре.
Закипевшей листвой пыля,
Шатаются пьяные тополя,
Всходит рыжею головой
Раньше солнца подсолнух твой.
Осыпая горячий пух,
С полотенца кричит петух...
Утро, утро, сестра, встречай,
Дай мне руки твои. Прощай!

(1930)



ТОВАРИЩ ДЖУРБАЙ

Товарищ Джурбай!
Мы с тобою вдвоем.
Юрта наклонилась над нами.
Товарищ Джурбай,
Расскажи мне о том,
Как ты проносил под седым Учагом
Горячее шумное знамя,
Как свежую кровью горели снега
Под ветром, подкошенным вровень,
Как жгла, обезумев, шальная пурга
Твои непокорные брови.
Товарищ Джурбай!
Расскажи мне о том,
Как сабля чеканная пела,
Как вкось по степям,
Прогудев над врагом,
Косматая пика летела.

...На домре спокойно застыла рука,
Костра задышается пламя.
Над тихой юртой плывут облака
Пушистыми лебедями.

...По чашкам, урча, бушует кумыс.
Степную травую пьян,
К озеру Куль и к озеру Тыс

Плывет холодный туман.
Шатаясь, идет на Баян-Аул
Табунный тяжелый гул.
Шумит до самых горных границ
Бурян золотых пшениц.
Багряным крылом спустился закат
На черный речной камыш,
И с отмелей рыжих цапли кричат
На весь широкий Иртыш.
Печален протяжный верблюжий
всхлип.
Встань, друг, и острей взгляни,—
Это зажег над степями Турксиб
Сквозь ветер свои огни.
...Прохладен и нежен в чашках кумыс...
В высокой степной пыли
К озеру Куль и к озеру Тыс
Стальные пути легли...

Товарищ Джурбай!
Не заря ли видна
За этим пригнувшимся склоном?
Не нас ли с тобой
Вызывает страна
Опять — как в боях — поименно?
Пусть домра замолкнет!
Товарищ, постой!
Товарищ Джурбай, погляди-ка!
Знакомым призывом
Над нашей юртой
Склонилась косматая пика!

(1930)



ПЕСНЯ

Марии Рогатиной — совхознице

Листвой тополиной и пухом лебяжьим,
Гортанными криками
Вспугнутых птиц
По мшистым низинам,
По склонам овражьи
Рассыпана ночь прииртышских станиц.

На сквозь новолунную мглу понизовья,
Дорогою облачных
Стынущих мет,
Голубизной и вскипающей кровью
По небу ударил горячий рассвет.

И, горизонт перевернутый сдвинув,
Снегами сияя издалека,
На крыши домов
Натыкаясь, как льдины,
Сплошным половодьем пошли облака.

В цветенье и росте вставало Поречье,
В лугах кочевал
Нарастающий гам,

Навстречу работе
И солнцу навстречу
Черлакский совхоз высыпал к берегам.

Недаром, повисший пустынно и утло,
Здесь месяц с серьгой казацкою схож.
Мария! Я вижу:
Ты в раннее утро
С поднявшейся улицей вместе плывешь.

Ты выросла здесь и налажена крепко.
Ты крепко проверена. Я узнаю
Твой рыжий бушлат
И ушатую кепку,
Прямую, как ветер, походку твою.

Ты славно прошла сквозь крещение железом.
Огнем и работой. Пусть нежен и тих,
Твой голос не стих
Под кулацким обрезом,
Под самым высоким заданьем не стих.

В засыпанной снегом кержацкой деревне
Враг стлался,
И поднимался,
И мстил.
В придушенной злобе,
Тяжелый и древний,
Он вел на тебя наступление вил.

Беспутные зимы и весны сырые
Топтались в безвыходных очередях,



Но ты пронесла их с улыбкой, Мария,
На крепких своих, на мужицких плечах.

Но ты пронесла их, Мария. И снова,
Не веря пробившейся седине,
Работу стремительную и слово
Отдать, не задумываясь, готова
Под солнцем индустрии вставшей стране.

Гляди ж, горизонт перевернутый сдвинув,
Снегами сияя издалека,
На крыши домов
Натыкаясь, как льдины,
Сплошным половодьем идут облака
И солнце.

Гудков переветренный голос,
Совхоза поля — за развалами верб.
Здесь просится каждый набухнувший колос
В социалистический герб.

За длинные зимы, за весны сырые,
За солнце, добытое
В долгом бою,
Позволь на рассвете, товарищ Мария,
Приветствовать песней работу твою.

ПУТЬ НА СЕМИГЕ

Мы строили дорогу к Семиге
На пастбищах казахских табунов,
Вблизи озер иссякших. Лихорадка
Сначала просто пела в тростнике
На длинных дудках комариных стай,
Потом почувствовался холодок,
Почти сочувственный, почти смешной, почти
Похожий на ломоть чарджуйской дыни,
И мы решили: воздух сладковат
И пахнут медом гривы лошадей.
Но звезды удалялись всё. Вокруг,
Подобная верблюжьей шерсти, тьма
Развертывалась. Сердце тяжелело,
А комары висели высоко
На тонких нитках писка. И тогда
Мы понимали — холод возрастал
Медлительно, и всё ж наверняка,
В безветрии, и все-таки прибоем
Он шел на нас, шатаясь, как верблюд.
Ломило кости. Бред гудел. И вот
Вдруг небо, повернувшись тяжело,
Обрушивалось. И кричали мы
В больших ладонях светлого озноба,
В глазах плясал огонь, огонь, огонь —
Сухой и лисий. Поднимался зной.
И мы жевали горькую полынь,



Пропавшую костровым дымом, и
Заря блестела, кровенясь на рельсах...
Тогда краснопутиловец Краснов
Брал в руки лом и песню запевал.
А по аулам слух летел, что мы
Мертвы давно, что будто вместо нас
Достраивают призраки дорогу.
Но всем пескам, всему наперекор
Бригады снова строили и шли.
Пусть возникали города вдали
И рушились. Не к древней синеве
Полдневных марев, не к садам пустыни —
По насыпям, по вздрогнувшим мостам
Ложились шпал бездушные тела.
А по ночам, неслышные во тьме,
Тарантулы сбегались на огонь,
Безумные, рыдали глухо выпи.
Казалось нам: на океанском дне
Средь водорослей зажжены костры.
Когда же синь и розов стал туман
И журавлиным узким косяком
Крылатых мельниц протянулась стая,
Мы подняли лопаты, грохоча
Железом светлым, как вода ручьев.
Простоволосые, посторонились мы,
Чтоб первым въехал мертвый бригадир
В березовые улицы предместья,
Шагнув через победу, зубы сжав.
.
Так был проложен путь на Семиге.



Когда-нибудь сощуришь глаз,
Наполненный теплыню ясной,
Меня увидишь без прикрас,
Не испугавшись в этот раз
Моей угрозы неопасной.
Оправишь волосы, и вот
Тебе покажутся смешными
И хитрости мои, и имя,
И улыбающийся рот.
Припомнит пусть твоя ладонь,
Как по лицу меня ласкала.
Да, я придумывал огонь,
Когда его кругом так мало.
Мы, рукотворцы тьмы, огня,
Тоски угадываем зрелость.
Свидетельствую — ты меня
Опутала, как мне хотелось.
Опутала, как вьюн в цветку
Опутывает тело дуба.
Вот почему, должно быть, чту
И голос твой, и простоту,
И чуть задумчивые губы.
И тот огонь случайный чту,
Когда его кругом так мало,



И не хочу, чтоб, вьюн в цвету,
Ты на груди моей завяла.
Всё утечет, пройдет, и вот
Тебе покажутся смешными
И хитрости мои, и имя,
И улыбающийся рот,
Но ты припомнишь меж другими
Меня, как птичий перелет.

1932

* * *

Я сегодня спокоен,
ты меня не тревожь,
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Он обрывает листья
в горницах сентября.
Ветер за синим морем,
и далеко заря.
Надо забыть о том,
что нам с тобой тяжело,
Надо услышать птичье
вздрыгнувшее крыло,
Надо зари дождаться,
ночь одну переждать,
Фет еще не проснулся,
не пробудилась мать.
Легким, веселым шагом
ходит по саду дождь,
Утренняя по телу
перебегает дрожь,
Утренняя прохлада
плещется у ресниц,
Вот оно утро — шепот
сердца и стоны птиц.

1932



* * *

В степях немятый снег дымится,
Но мне в метелях не пропасть,—
Одену руку в рукавицу
Горячую, как волчья пасть,

Плечистую надену шубу
И вспомяну любовь свою,
И чарку поцелуем в губы
С размаху насмерть загублю.

А там за крепкими сенями
Людей попутных сговор глух.
В последний раз печное пламя
Осылет петушиный пух.

Я дверь раскрою, и потянет
Угаром банным, дымной тьмой...

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ

О чем глаз на́ глаз нынче станет
Кума беседовать со мной?

Луну покажет из-под спуда,
Иль полыньей растопит лед,
Или синиц замерзших груду
Из рукава мне натрясет?

(1933)



ДОРОГА

Лохматые тучи
Клубились над нами,
Березы кружились
И падали, и,
Сбежав с косогора,
Текли табунами,
И шли, словно волны,
Курганы в степи.

Там к рекам спешила
Овечья Россия
И к мутной воде
Припадала губой,
А тучи несметные
И дождевые
Сбирались,
Дымились
И шли на убой.

Нам было известно —
На этой равнине,
За тысячи верст
От равнинной луны,

Лепечут котлы
И бушуют полыни,
И возле болотца
Стоят в котловине
На гнутых ногах
Над огнем таганы.

Оттуда неслись к нам
Глухие припевы
Далекой и с детства
Родной высоты,
И на стоянках
Скуластые девы
Для нас приносили
Оттуда цветы.

У этих цветов
Был неслыханный запах,
Они на губах
Оставляли следы,
Цветы эти, верно,
Стояли на лапах
У черной,
Наполненной страхом воды.

А поезд в смятение
Всё рвал без оглядок
Застегнутый наглухо
Ворот степей,
И ветер у окон
Крутился и прядал,
Как будто бы кто
Выпускал голубей.



У спутниц бессонница,
Спутанный волос,
Им шеи закат золотит,
И давно
В их пестрых глазах
Полстраны расколосось,—
Зачем они смотрят,
Тоскуя, в окно?

Но вот по соседству,
Стуча каблуками,
С глазами ослепшими,
Весел и пьян,
Гармонь обнимает
Кривыми руками
Далекой
Японской войны ветеран:

«Не радуйся, парень,
Мы сами с усами,
Настрой гармониста
На праздничный лад...»
...Мы ехали долго
Полями-лесами,
Встречая киргиз
И раскосых бурят...

А поезд всё рвет
Через зарево дыма,
Обросший простором и ветром,
В дыму,

И мир полосатый
Проносится мимо —
Остаться не страшно
Ему одному.

Затеряны избы,
Постели и печи.
Там бабы
Угрюмо терéбят кудель,
Пускает до облак
Гусей Семиречье
И ходит под бубны
В пыли карусель.

Огни загораются
Реже и реже,
Черны поселенья,
Березы белы,
Стоит мирозданье,
Стоят побережья,
И жвачку в загонах
Роняют волы.

И только на лавке
Вояка бывалый,
Летя вместе с поездом
В темень, поет:
«...Родимая мать,
Ты меня целовала
И крест мне дала,
Отправляя в поход...»



Кого же ты, ночь,
И за что обессудишь?
Кого же прославишь
И пестуешь ты?
А там, где заря начинается,
Люди
Коряги ворочают,
Строят мосты.

Тревожно гудят
Провода об отваге,
Протяжные звуки
Мы слышим во мгле.
Развеяны по ветру
Красные флаги,
Весна утвердилась
На талой земле.

1933

ИРТЫШ

Камыш высок, осока высока,
Тоской набух тугой сосок волчицы,
Слетает птица с дикого песка,
Крылами бьет и на волну садится.

Река просторной родины моей,
Просторная,
Иди под непогодой,
Теки, Иртыш, выплескивай язей —
Князь рыб и птиц, беглец зеленоводый.

Светла твоя подводная гроза,
Быстры волны шатучие качели,
И в глубине раскрытые глаза
У плавуна, как звезды, порыжели.

И в погребках песчаных в глубине,
С косой до пят, румяными устами,
У сундуков незапертых на дне
Лежат красавки с щучьими хвостами.

Сверкни, Иртыш, их перстнем золотым!
Сон не идет, заботы их не точат,
Течением относит груди им
И раки пальцы нежные щекачут.

Маши турецкой кистью камыша,
Теки, Иртыш! Любуюсь, не дыша,
Одним тобой, красавец острокулый.
Оставив целым меду полковша,
Роскошествуя, лето потонуло.

Мы встретились. Я чалки не отдам,
Я сердца вновь вручу тебе удары...
По гребням пенистым, по лебедям
Ударили колеса «Товар-пара».

Он шел, одетый в золото и медь,
Грудастый шел. Наряженные в ситцы,
Ладонь к бровям, сбегались поглядеть
Досужие приречные станицы.

Как медлит он, течение поборов,
Покачиваясь на волнах дородных...
Над неоглядной далью островов
Приветственный погуливает рев —
Бродячий сын компаний пароходных.

Катайте бочки, сыпьте в трюмы хлеб,
Ссыпайте соль, которою богаты.
Мне б горсть большого урожая, мне б
Большой воды грудные перекаты.

Я б с милой тоже повстречаться рад —
Вновь распознать, забытые в разлуке,
Из-под ресниц позолоченный взгляд,
Ее волос могучий перекал
И зноем зацелованные руки.

Чтоб про других шепнула: «Не вини...»
Чтоб губ от губ моих не отрывала,
Чтоб свадебные горькие огни
Ночь на баржах печально зажигала.

Чтобы Иртыш, меж рек иных скиталец,
Смыл тяжкий груз накопленной вины,
Чтоб вместо слез на лицах оставались
Лишь яростные брызги от волны!

(1934)



СТИХИ В ЧЕСТЬ НАТАЛЬИ

В наши окна, щурясь, смотрит лето,
Только жалко — занавесок нету,
Ветреных, веселых, кружевных.
Как бы они весело летали
В окнах приоткрытых у Натальи,
В окнах незатворенных твоих!

И еще прошением прибалую —
Сшей ты, ради бога, продувную
Кофту с рукавом по локоток,
Чтобы твое яростное тело
С ядрами грудей позолотело,
Чтобы наглядеться я не мог.

Я люблю телесный твой избыток,
От бровей широких и сердитых
До ступни, до ногтей люблю,
За ночь обескрылевшие плечи,
Взор, и рассудительные речи,
И походку важную твою.

А улыбка — ведь какая малость! —
Но хочу, чтоб вечно улыбалась —
До чего тогда ты хороша!

До чего доступна, недотрога,
Губ углы приподняты немного:
Вот где помещается душа.

Прогуляться ль выйдешь, дорогая,
Всё в тебе ценя и прославляя,
Смотрит долго умный наш народ,
Называет «прелестью» и «павой».
И шумит вослед за величавой:
«По стране красавица идет».

Так идет, что ветви зеленеют,
Так идет, что соловьи чумеют,
Так идет, что облака стоят.
Так идет, пшеничная от света,
Больше всех любовью разогрета,
В солнце вся от макушки до пят.

Так идет, земли едва касаясь,
И дают дорогу, расступаясь,
Шлюхи из фокстротных табунов,
У которых кудлы пахнут псиной,
Бедра крыты кожей гусиной,
На ногах мозоли от обнов.

Лето пьет в глазах ее из брашен,
Нам пока Вертинский ваш не страшен —
Чертова рогулька, волчья сыть.
Мы еще Некрасова знавали,
Мы еще «Калинушку» певали,
Мы еще не начинали жить.



И в июне в первые недели
По стране веселое веселье,
И стране нет дела до трухи.
Слышишь, звон прекрасный возникает?
Это петь невеста начинает,
Пробуют гитары женихи.

А гитары под вечер речисты,
Чем не парни наши трактористы?
Мыты, бриты, кепки набекрень.
Слава, слава счастью, жизни слава.
Ты кольцо из рук моих, забава,
Вместо обручального одень.

Восславляю светлую Наталью,
Славлю жизнь с улыбкой и печалью,
Убегаю от сомнений прочь,
Славлю все цветы на одеяле,
Долгий стон, короткий сон Натальи,
Восславляю свадебную ночь.

Май 1934

* * *

Родительница степь, прими мою,
Окрашенную сердца жаркой кровью,
Степную песнь! Склонившись к изголовью
Всех трав твоих, одну тебя пою!
К певучему я обращаюсь звуку,
Его не потускнеет серебро,
Так вкладывай, о степь, в сыновью руку
Кривое ястребиное перо.

6 апреля 1935



ЛЕТО

1

Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Поводырем по всей России
Ты сказку за руку водил.
Шумели Обь, Иртыш и Волга,
И девки пели на возах,
И на закат смотрели до-о-лго
Их золоченые глаза.
Возы прошли по гребням пенным
Высоких трав, в тених, в пыли,
Как будто вместе с первым сеном
Июнь в деревни привезли.
Он выпрыгнул, рудой, без шубы,
С фиалками заместо глаз,
И, крепкие оскалив зубы,
Прищурившись, смотрел на нас.
Его уральцы, словно друга,
Сажали в красные углы,
Его в вагонах красных с юга
Веселые везли хохлы.
Он на перинах спал, как барин,
Он мылся ключевой водой,

В ладони бил его татарин
На ярмарке под Куяндой.
Какой пригожий!

А давно ли
В цветные копны и стога
Метал январь свои снега,
И на свободу от неволи
Купчиху-масленицу в поле
Несла на розвальнях пурга!
Да и запомнится едва ли
Средь всяческих людских затей,
Что сани по ветру пускали,
Как деревянных лебедей?
Но сквозь ладонь взгляни на солнце —
Весь мир в березах, в камыше,
И слаще, чем заря в оконце,
Медовая заря в ковше.
Когда же яблоня опала?
А одуванчик? Только дунь!
Под стеганные одеяла
К молодкам в темень сеновала
Гостить повадился июнь.
Ну, значит, ладны будут дети —
Желтоволосы и крепки,
Когда такая сладость в лете,
Когда в медовом, теплом свете
Сплетаёт молодость венки.
Поверивший в слова простые,
В косых ветрах от птичьих крыл,
Ты, может, не один в России
Такую сказку полюбил.
Да то не сказка ль, что по длинной



Дороге в травах, на огонь,
Играя, в шубе индюшиной,
Без гармониста шла гармонь?
Что ель шептала: «Я невеста»,
Что пух кабан от пьяных сал,
Что статный дуб сорвался с места
И до рассвета проплясал!

2

Мы пьем из круглых чашек лето.
Ты в сердце вслушайся мое,
Затем так смутно песня спета,
Чтоб ты угадывал ее.
У нас загадка не простая...
Ты требуй, вопрекор молве,
Чтоб яблони сбирались в стаи,
А голуби росли в траве.
Чтоб на сосне в затишье сада
Свисала тяжело гроздь сорок —
Всё это сбудется, как надо,
На урожай будет срок!
Ну, а пока не стынет в чашке
Зари немеркнущая гладь,
Пока не пробудилась мать,
Я буду белые ромашки,
Как звезды в небе, собирать.
Послушай, синеглазый, — тихо...
Ты прошепчи, пропой во мглу
Про то монашье злое лихо,
Что пригорюнилось в углу.

Крепки, желтоволосы дети,
Тяжелый мед расплескан в лете,
И каждый дождь — как с неба весть.
Но хорошо, что горечь есть,
Что есть над чем рыдать на свете!

3

Нам, как подарки, суждены
И смерти круговые чаши,
И первый проблеск седины,
И первые морщины наши.
Но посмотри на этот пруд —
Здесь будет лед, а он в купавах.
И яблони, когда цветут,
Не думают о листьях ржавых.
Я снег люблю за прямоту,
За свежесть звезд его падучих
И ненавижу только ту
Ночей гнилую теплоту,
Что зреет в задремавших сучьях.
Так стережет и нас беда...
Нет, лучше снег и тяжесть льда!
Гляди, как пролетают птицы,
Друг друга за крыло держа.
Скажи, куда нам удалиться
От гнили, что ползет, дрожа,
От хитрого ее ножа?
Послушай, за страну синей,
В лесу веселом и густом,
На самом дне ночи павлиньей
Приветливый я знаю дом.

С крылечком узким вместо лапок,
 С окном зеленым вместо глаз,
 Его цветов чудесный запах
 Еще доносится до нас.
 От ветра целый мир в поклонах.
 Все люди знают, знаешь ты,
 Что синеглазые цветы
 Растут не только на иконах.
 Их рисовал не человек,
 Но запросто их люди рвали,
 И если падал ранний снег,
 Они цвели на одеяле,
 На шальях, на ковре цвели,
 На белых кошмах Казахстана,
 В плену затейников обмана,
 В плену у мастеров земли.
 О, как они любимы нами!
 Я думаю: зачем свое
 Укрытое от бурь жилье
 Мы любим украшать цветами?
 Не для того ль, чтоб средь зимы
 Глазами злыми, пригорюнясь,
 В цветах угадывали мы
 Утраченную нами юность?
 Не для того ль, чтоб сохранить
 Ту необорванную нить,
 Ту песню, что еще не спета,
 И на мгновенье возвратить
 Медовый цвет большого лета?
 Так, прислонив к щеке ладонь,
 Мы на печном, кирпичном блюде
 Заставим ластиться огонь.

Мне жалко, — но стареют люди...
И кто поставит нам в вину,
Что мы с тобой, подруга, оба,
Как нежность, как любовь и злобу,
Накопим тоже седину?

4

Вот так калитку распахнешь
И вздрогнешь, вспомнив, что, на плечи
Накинув шаль, запрятав дрожь,
Ты целых двадцать весен ждешь
Условленной вчера лишь встречи.
Вот так: чуть повернув лицо,
Увидишь теплое сиянье,
Забытых снов и звезд мельканье,
Калитку, старое крыльцо,
Река блеснет, блеснет кольцо,
И кто-то скажет: «До свиданья!..»

30 июня 1932

Кунцево



АВГУСТ

Угоден сердцу этот образ
И этот цвет!

Языков

1

Еще ты вспоминаешь жаркий день,
Зарей малины крытый, шубой лисьей,
И на песке дорожном видишь тень
От дуг, от вил, от птичьих коромысел.

Еще остался легкий холодок,
Еще дымок витает над поляной,
Дубы и грозы валит август с ног,
И каждый куст в бараний крутит рог,
И под гармонь тоскует бабой пьяной.

Ты думаешь, что не приметил я
В прическе холодеющую проседь,—
Ведь это та же молодость твоя,—
Ее, как песню, как любовь, не бросить!

Она — одна из радостных щедрот:
То ль журавлей перед полетом трубы,

То ль мед в цветке и запах первых сот,
То ль поцелуем тронутые губы...

Вся в облаках заголубела высь,
Вся в облаках над хвойною трущобой.
На даче пни, как гуси, разбрелись.
О, как мычит теленок белолобый!

Мне ничего не надо — только быть
С тобою рядом и, вскипая силой,
В твоих глазах глаза свои топить —
В воде их черной, ветреной и стылой.

2

Но этот август буен во хмелю!
Ты слышишь в нем лишь щебетанье птахи,
Лишь листьев свист, — а я его хвалю
За скрип телег, за пестрые рубахи,

За кровь-руду, за долгий сытый рев
Туч земляных, за смертные покосы,
За птиц, летящих на добычу косо,
И за страну, где миллион дворов
Родит и пестует ребят светловолосых.

Ой, как они впились в твои соски,
Рудая осень! Будет притворяться,
Ты их к груди обильной привлеки, —
Ведь лебеди летят с твоей руки,
И осы желтые в бровях твоих гнездятся.



3

Сто ярмарок нам осень привезла —
Ее обозы тридцать дён тянулись,
Всё выгорело золотом дотла,
Всё серебром, всё синью добела.
И кто-то пел над каруселью улиц...

Должно быть, любо августовским днем
С венгерской скрипкой, с бубнами в России
Кривлять дождю канатным плясуном!
Слагатель песен, мы с тобой живем,
Винцом осенним тешась, а другие?

Заслышав дождь, они молчат и ждут
В подъездах, шеи вытянув по-курьи,
У каменных грохочущих запруд.
Вот тут бы в смех — и разбежаться тут,
Мальчишески над лужей бедокура.

Да, этот дождь, как горлом кровь, идет
По жестяным, по водосточным глоткам,
Бульвар измок, и месяц большерот.
Как пьяница, как голубь, город пьет,
Подмигивая лету и красоткам.

4

Что б ни сказала осень, — всё права...
Я не пойму, за что нам полюбилась
Подсолнуха хмельная голова,

Крылатый стан его и та трава,
Что кланялась и на ветру дымилась.

Не ты ль бродила в лиственных лесах
И появилась предо мной впервые
С подсолнухами, с травами в руках,
С базарным солнцем в черных волосах,
Раскрывши юбок крылья холстяные?

Дари, дари мне, рыжая, цветы!
Зеленые прижал я к сердцу стебли,
Светлы цветов улыбки и чисты —
Есть в них тепло сердечной простоты,
Их корни рылись в золоте и пепле.

5

И вот он, август, с песней за рекой,
С пожарами по купам, тряской ночью
И с расставанья тающей рукой,
С медвежьим мхом и ворожкой сорочьей.

И вот он, август, роется во тьме
Дубовыми дремучими когтями
И зазывает к птичьей кутерьме
Любимую с тяжелыми ноздрями,
С широкой бровью, крашенной в сурьме.



Он прячет в листья голову свою —
Оленью, бычью. И в просветах алых,
В крушение листьев, яблок и обвалах,
В ослепших звездах я его пою!

Август 1932

Кунцево



ПАВЕЛ ШУБИН

1914—1951



Павел Николаевич Шубин родился на Орловщине (с. Чернава) в семье сельского мастера-вого и большого любителя книг.

Пятнадцати лет приехал в Ленинград, работал слесарем на металлургическом заводе и учился на вечернем отделении конструкторского техникума имени М. И. Калинина. В на-

чале 30-х годов появились в печати его первые стихотворения. После окончания техникума, с 1933 г. по 1938 г. П. Шубин учился на филологическом факультете Пединститута имени Герцена.

В 1937 г. вышла первая книга П. Шубина — «Ветер в лицо». В 1938 г. П. Шубин был принят в члены Союза писателей, переехал в Москву. В 1940 г. вышел второй его сборник — «Парус».

Во время Великой Отечественной войны П. Шубин воевал под Ленинградом (на Волховском фронте), в Карелии, в Заполярье, на Дальнем Востоке, был награжден орденами Великой Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями, демобилизовался в звании майора.

«В дни испытаний герой Шубина научился чувствовать родину в любом звуке родной речи, в любом клочке поля, леса» (А. Абрамов).

После войны он издает поэтические сборники «Моя звезда» (1946), «Солдаты» (1948), «Дороги, годы, города» (1949)...



ВСТУПЛЕНИЕ

Если вечер почти невесомо.
Пролетит полустанком моим,
Облака откочуют на Кромы,
И луна опрокинется в Тим,
Одиноким корабликом-стругом
Разрезая речные струи...
В этот вечер по волчьим яругам
Запоют, загремят соловьи...

Будет душен черемухи запах.
И откроет на завтра рассвет,
Сизым инеем легший на травах,
Облетевший черемухи цвет;
Чтобы он шелестел под ногами,
Пожелтевший, ненужный, ничей —
Однодневная, тонкая память
Соловьиных недолгих ночей.

Мне бы тоже сгореть на откосе,—
Как черемухе,— ночью одной.

Двадцать дымных и розовых весен
Прогремело, прошло надо мной.

Вот стою я. И новый и
давний,
Уводя прожитое назад.
Мир успехов моих и страданий,
Задыхаясь, растет на глазах.

Август 1935



СТЕПНАЯ СКАЗКА

Не туман стоял высоко —
Ветер пух крутил:
По-над дымным лугом сокол
Голубя когтил.

Шелестел в поёмах глухо
Зябкий краснотал;
Веял ветер, белым пухом
Землю заметал.

И когда застыли вязы,
Побелев с утра,
Вместе с кровью пали наземь
Синих два пера.

Не от той ли это крови
На сто верст вокруг
С полою водою вровень
Таял белый луг?

Не с того ли, расскажите,
Столько весен тут
Два огня в траве и жите,
Два цветка цветут?

Там, где кровь упала птицы,
Прожигая пыль,
Темно-красным медуницы
Вышили ковыль;

Дует ветер, клонит низом
Красные цветы,
И в местах, где голубь сизый
С темной высоты

Уронил, свистя крылами,
Два пера своих,—
Морем ходит синий пламень
Васильков степных.

1937

ЭСТАФЕТА

Всадник скрылся в пшенице
 Возле низких раkit,
 Только шапка, как птица,
 Над пшеницей летит.

И погоня от брода
 По летящей, по ней,
 Бьет, не спешившись, с ходу,
 С запаленных коней.

Как сквозь дымку все это,
 Как во сне оживет:
 Степь Задонская. Лето.
 Восемнадцатый год.

И высокий, сутулый,
 С темной мукой в глазах,
 Навзничь брошенный пулей
 Неизвестный казак.

С боязливою лаской —
Чувством теплым одним —
Два дружка, два подпаса
Наклонились над ним.

Смерть его распростерла,
Словно крест у межи.
Кровь толчками из горла
С тихим свистом бежит;

И не слышно ни слова,
И дыхания нет.
Лишь из пальцев лиловых
Чайкой рвется пакет.

А куда его надо
И кому передать?
Не случилось ребятам
Научиться читать.

Но сияние алой
На папахе звезды
Больше слов рассказало
Пастухам молодым.

И, дорогу срезая,
По широкой кривой,



Старший, набок сползая,
Поскакал к Таловой.

Там за волю сражаться,
Как своих сыновей,
Вел полки богучарцев
Василенко Матвей.

Ой, вы дальние дали,
Ветра вольного гик!
...А второго пытали
Лютой пыткой враги.

Рыжий сотник глумился:
«Что ж ты, милый, молчишь?
Где товарищ твой скрылся?
Не видал, говоришь?»

И нагайка, змеею
Завиваясь к концу,
Била, бешено воя,
По глазам, по лицу...

И ни слова, ни знака...
Сотник вскинул клинок,
«Что же, скажешь, собака?»
Но смолчал паренек.

ПАВЕЛ ШУБИН

Словно в поле ромашка
Под свистящей косой,
Пал он, срезанный пашкой,
Непокорный, босой...

Гей вы, степи, далече
Ваш дымится восход!
Смертной пулею мечен
Восемнадцатый год.

Таловая и Лиски,
Воронцовка, Бахмут!
Поименные списки
Павших не перечтут.

Но об этом подпаске
Есть: «Погиб за народ
Васька Савинков». Ваське
Шел пятнадцатый год.



ПОРТРЕТ

Там, где девочкой русой росли вы,
Пахли зорями темные сливы,
И, вползая на низенький вал,
Лопухов и дремучей крапивы
Неуемный прибой бушевал.

Было весело пальцами трогать
Месяц гнутый, как филина коготь,
Под березой, на дне родника,
Чтоб в студеном струенье по локоть
Загорелая ныла рука.

Или зорь золотые сережки
Обрывать на пахучем горошке,
Где, омытые свежей росой,
Повиликой заросшие стежки
Пахнут теплой землей и грозой.

А когда закипала в долинах
Перекличка ночей соловьиных,—
Петь и плакать меж лунных дерев,

От весны, от садов тополиных,
От неясной тоски охмелев.

Все вам чудилось ночью недлинной,
Что роман оживает старинный,
И, пруды поволокой обвив,
Смотрит в окна цветущей калиной
Тень тургеневской чистой любви.

Все казалось: за полем, за чащей
Мимо мчится жених настоящий,
Чтобы снова исчезнуть в былом,
И черемуха тройке летящей
Машет белым лебяжьим крылом.

Вот и юность над речкой полесской
Отзвенела каплей апрельской...
Чем же кончились девичьи сны?
Может, долей учительши сельской,
Просто ль — мужней забитой жены...

(В черном омуте ночи имперской
Только эти дороги ясны.)

Там, где девочкой русой росли вы,
Я ходил по-иному счастливый, —
Так же плыл над садами рассвет,



Так же пел родничок говорливый,
Из-под пня пробиваясь на свет.

Только клумбу пред ним без прополки
Заглушило татарником колким,
Дом, рассыпавшись, сполз под откос,
И альбом на разломанной полке
Пухлой лессовой пылью зарос.

Меж обложек — бумажная каша.
Сохранился плешивый папаша —
Земский писарь: усы да мундир, —
Да еще фотография ваша —
Девяностых годов сувенир.

СВЕРСТНИЦА

Ты здесь жила.
 Под окнами,
 внизу,
Пел городок
 торговкой на возу,
И жимолость шумела,
 и в канал
Вечерний тополь
 листья окунал.
Ты здесь жила.

Июньской светлой ночью
Две девушки прощались. Спали сфинксы.
И в окна Академии художеств
Заря вливалась, как вино в бокалы,
Зеленовато-розовым огнем.
Одна сказала: «Вот и все. Прощай!
Обидно: снова будут в Ленинграде
Бессонные и трепетные ночи,
И клумбы будут пахнуть резедой,
И в Первом медицинском институте
Окончатся экзамены. Подруги,
Как мы с тобой, расстанутся под утро,
А нас не будет. Вот и все. Не плачь».

А женщина действительно стояла
У нашей лужи, складывая зонтик,
И вдруг спросила: «Вы — на побережье?
Спешите. Пароход пришел вчера».
И, как во сне, мы подняли мешки
И тронулись. И только взгляд ее,
Такой спокойный, гордою печалью
Меня по сердцу полоснул, что я
Остановился. И она сказала:
«Теперь у нас в Орловщине поля
В цвету, как дым. Быть может,
Вам случится
Быть в городке на берегу Оки?..
Там, над каналом, домик деревянный
И тополь под окном...
Скажите маме,
Что я... что Маша, дочь ее, жива.
Ну, и что врач она. А лучше... Нет,
Не надо. Ничего не говорите...
А к побережью здесь идти нельзя,
Здесь лепрозорий. Видите зарубки?
По ним к заливу торная тропа!»

Она пошла, и косы золотые,
Как два луча сквозь морозящий дождик,
Светились далеко на темном платье.

Ты здесь жила.

Две золотые пряди
В зеленой ученической тетради,

Людского сердца

ясной чистоты.

И был в своей обычности безмерен

Июньский день;

седой от непогод;

Крошился

под папанинцами лед,

И смены ждал радист на Ванкувере,

И Чкалов вел на полюс самолет.

Июнь, 1940 г.



* * *

Санная дорога до Чернавска
Вьется,
Вьется снежная пыльца;
Свист саней от самого Ельца,
Ветер — у лица. И — даль. И пляска
Тонкого поддужного кольца...

А в снегах — без края, без конца —
Древняя, дремучая побаска,
Все звенит, все бредит детской лаской,
Лепетом младенца-бубенца;

До зари вечерней опояска
Где-то там, у отчего крыльца.

Дальнозоркой памятью увижу
За сто верст отсюда на закат
Низкую соломенную крышу,
Вровень с ней сугробы, а повыше —
Дым над черепичною трубою:
Башенкой белесо-голубою
В небо он уходит, языкат...

У отца на это свой загад:
Дым высокий — будет день хороший,
Утро ляжет легкою порошей...
Он коня выводит на раскат,
К проруби на речке, к водопою.
Ловит воду, заступив в ушат,
Конь стоялый бархатной губою.

Дома —
Шкуры волчьи на распялках,
Веники сухого чабреца,
Кадка взвару,
Меду полкорца,
Печь в полхаты, в петухах и галках
Цвета молодого огурца —
Мудрое художество отца...

Ночь.
Зеленый месяц на прогалках
Стекол, в рамах, тяжелей свинца,
Теплая, дремотная ленца,
Отсвет лампы на дубовых балках.

А селом —
Гармоника с Донца,
Песни, песни — ничего не жалко!
Кони — в лентах, сани — в бубенцах,
Девушки в пуховых полушалках,—

Встреться,
И не вспомнишь об иных!



Только
Звездный свет в глазах у них,
Только губы — запах пьяных вишен...
И навеки станет сердцу слышен
Легкий бег кошевок расписных.

Родина! В подробностях простых
Для меня открылась ты однажды,
И тебе я внял кровинкой каждой
И навек запомнил, словно стих.

Москва

23 декабря 1941 г.

В СЕКРЕТЕ

В романовских дубленых полушубках
Лежат в снегу — не слышны,

не видны.

Играют зайцы на лесных порубках.
Луна. Мороз... И словно нет войны.

Какая тишь! Уже, наверно, поздно.
Давно, должно быть, спели петухи...
А даль — чиста. А небо звездно-звездно.
И вокруг луны — зеленые круги.

И сердце помнит: было все вот
так же.

Бойцы — в снегу. И в эту синеву —
Не все ль равно — Кубань

иль Кандалакша? —

Их молодость им снится наяву.

Скрипят и плачут сани расписные,
Поют крещенским звоном бубенцы,
Вся — чистая, вся — звездная Россия,
Во все края — одна, во все концы...



И в эту даль, в морозы затяжные,
На волчий вой, на петушиный крик
Храпят и рвутся кони пристяжные,
И наст сечет грудастый коренник.

Прижать к себе, прикрыть полый
тулупа
Ту самую, с которой — вековать,
И снежным ветром пахнущие губы
И в инее ресницы целовать.

И в час, когда доплачут, досмеются,
Договорят о счастье бубенцы,
В избу, в свою, в сосновую вернуться
И свет зажечь...

В снегу лежат бойцы.
Они еще свое не долюбили.
Но — родина, одна она, одна! —
Волнистые поляны и луна,
Леса, седые от морозной пыли,
Где волчий след метелью занесен...

Березки — словно девочки босые —
Стоят в снегу. Как сиротлив их сон!
На сотни верст кругом горит Россия.

Разъезд № 9 под ст. Неболчи

13 декабря 1942 г.

МАЛЕНЬКИЕ РУКИ

Слезы — как разведчики
Будущей разлуки —
Худенькие плечики,
Маленькие руки.

Всю-то ночь до света ей
Толковал пустое:
Забывать — не следует,
Горевать — не стоит.

А убьют, неловкого, —
За другого выйдешь,
Давнего, далекого
Этим не обидишь.

Да не плачь на выданье, —
Не один на свете...
...И доныне стыдно мне
За слова за эти.

Станция у речки,
Стыки-перестуки,
Худенькие плечики,
Маленькие руки.

Скушная-прескушная,
За слезой слезинку
Прятала в прикушенную
Мокрую косынку.

Знаю, не из гордости —
Не томиться чтобы,
До отправки поезда
Промолчали оба.

Трудно как, далече как
Нынче до подруги!..
Худенькие плечики,
Маленькие руки!

Месяцами долгими
Бой без перерыва,
Брызжутся осколками
Яростные взрывы.

Гибель свищет с воздуха,
Ходит за плечами
Целый год без отдыха,
Днями и ночами.

Кто мне был товарищем,
От беды спасая,
Я не знал вчера еще,
А сегодня знаю!

Чья защита жгучая
И какая сила

Гибель неминуемую
Мимо проносила:

Вы за все ответчики —
Милые до муки,
Худенькие плечики,
Маленькие руки...

Разъезд № 9 под ст. Неболичи
9 декабря 1942 г.

ПОЛМИГА

Нет,
 Не до седин,
 Не до славы
 Я век свой хотел бы продлить,
 Мне б только до той вон канавы
 Полмига, полшага прожить;

Прижаться к земле
 И в лазури
 Июльского ясного дня
 Увидеть оскал амбразуры
 И острые вспышки огня.

Мне б только
 Вот эту гранату,
 Злорадно поставив на взвод,
 Всадить ее,
 Врезать, как надо,
 В четырежды проклятый дзот,

Чтоб стало в нем пусто и тихо,
 Чтоб пылью осел он в траву!
 ...Прожить бы мне эти полмига,
 А там я сто лет проживу!

Юго-восточнее Мги

3 августа 1943 г.

В КИРКЕНЕСЕ

Был дом. Была с наивной верой
Подкова врезана в порог.
Но пал на камни пепел серый,
А дом бегущий немец сжег.

Рыбачья грубая бахила
Валяется... Хозяев нет.
А может, это их могила —
Из щебня холмик без примет?

Лишь у рябины обгорелой,
Над вечной, медленной водой
Сидит один котенок белый...
Не белый, может, а седой?

На стуже не задремлешь, нежась,
Но он не дрогнул, как ни звал, —
А может, все-таки — норвежец —
По-русски он не понимал?

Или безумье приковало
Его к скале? Он все забыл,
И только помнит, что, бывало,
Хозяин с моря приходил.

Норвегия. Эльвинес

Ноябрь 1944 г.



СОЛДАТ

Зеленой ракетой
Мы начали ту
Атаку
На дьявольскую высоту.

Над сумрачной Лицей
Огонь закипел,
И ты распрямитесь
Не смог, не успел.

Но взглядом неробким
Следил, неживой,
Как бился на сопке
Отряд штурмовой,

Как трижды катились
С вершины кривой,
Как трижды сходились
Опять в штыковой:

Удар
и прыжок —
На вершок,
на аршины,

И рванный флажок
Заалел над вершиной.

В гранитной могиле,
Сухой и крутой,
Тебя мы зарыли
Под той высотой.

На той высоте
До небес взнесена
Во всей красоте
Вековая сосна.

Ей жить — охранять
Твой неначатый бой,
Иголки ронять,
Горевать над тобой.

А мне не избыть,
Не забыть до конца
Твою
 неубитую
Ярость бойца.

В окопе холодном,
Безмолвный уже,
Ты все на исходном
Лежишь рубеже.



И, сжатый в пружину,
Мгновенья,
Года
Готов — на вершину,
В атаку, туда,

Где в пламя рассвета,
Легка и грустна,
Зеленой ракетой
Взлетает сосна.

1945



Не подвигались стрелки «мозера».
И ЗИС, казалось, в землю врос.
И лишь летело мимо озера
Шоссе с откоса на откос.

От напряжения, от страха ли —
Шофер застыл, чугунным став.
А за спиной снаряды кричали,
На полсекунды опоздав.

Прижавшись к дверце липкой
 прядкою,
Чтобы шоферу не мешать,
Фельдъегерь всхлипывал украдкой
И вновь переставал дышать.

И из виска, совсем беззвучная,
Темно-вишневая на цвет,
Текла, текла струя сургучная
На штемпелеванный пакет.

Харбин

Август 1945 г.

ЖИВАЯ ПЕСНЯ

Есть город матросов,
Ночных контрабасов,
Мохнатых барбосов
И старых карбасов;

Зюйдвесток каляных
На вантах наклонных,
В ветрах окаянных
Рассолом каленых.

Там ворвани бочки —
Не моря подачки,
Грудасты там дочки,
Горласты рыбачки.

Ложатся там хмары
На снежные горы,
Там в бурю сквозь бары
Проходят поморы.



Я тундрой глухою
Летел под дохою.
Дорога — дугою,
С одною вехою.

Я слышу понине,
Как плачут гусыни
В апрельской теплыни,
В полярной пустыне.

И снится мне вешка —
Снегов поваляшка,
И с волчьей побежкой
Собачья упряжка.

И, сердце лаская
Отвагой мужскою, —
Дорога морская,
Карбасы с трескою...

Но, помню, от гула
Лапландского шквала
На Волгу тянуло,
В Задонщину звало.

Что сердце любило?
О чем тосковало?

Все, кажется, было
И — как не бывало.

Героем — рассказу,
Помощником — чуду
Мне надо быть сразу
Всегда и повсюду.

И видеть воочью
Пространство и время:
Я их средоточье
За всех. Перед всеми.

Москва
1946

НАДПИСЬ НА КНИГЕ

Вам снилось когда-нибудь море
 В безводном степном городке,
 Где сохнет белье на заборе,
 И спит под кустом в холодке
 Семья поросят терпеливых,
 И в белом огне небосвод?..

Вам снился ль
 В далеких проливах
 Бесшумного паруса взлет?

Его в ураганах кружило
 И рвало в клочки на лету,
 С ним бедное детство дружило,
 В крылатую веря мечту.

Упрямо вперед устремленный,
 Из бездны взлетая на вал,
 Он в мир, предрассветный, зеленый,
 Манил за собою и звал.

Пусть буду я стариться дома,
Пусть стану, как пепел, седой,
Но парус, к рассвету ведомый
Исканий тревожной звездой,
Запомню, как единоверца...

...И смерти наступит черед,
Когда не останется в сердце
Простого стремленья вперед.



ТОВАРИЩ

Поэма

Вступление

Такое детство:
Заглянули в святцы,
Остапом или Павлом нарекли,
И мальчику отныне удивляться
Неистощимой щедрости земли;

Ловить лягушек,
Бегать за возами,
Серебряную трогать лебеду,
Большими васильковыми глазами
Смотреть на птиц в черешневом саду;

И на заре,
Еще покрытой мглою,
Заметить вдруг,
Что розовый цветок,
Ограбленный запасливой пчелою,
Глядит мохнатым рыльцем на восток;

И рядом с ним — другой.
И по черешням,
Прохладны, серебристы и нежны,

Цветы к восходу повернулись,
Вешним
Теплом и светом заворожены.

Так откровенье детских увлечений
Вплетает в память первое звено
Хитрейшей цепи умозаклучений,
Которой нам располагать дано.

А все, что возраст принесет с собою,
И на день новизны не сохраня,
Уйдет корнями,
Свяжется судьбою
С одной горбатой вербой у плетня,

С саманной,
Мелом выбеленной хатой,
С прощальным журавлиным косяком,
С куском земли

родимой,
небогатой,

Избеганной когда-то босиком.

И океана штормовое пенье,
Воды осатаневшей толчея —
Постигнется навек в простом сравненье
С давно знакомым говором ручья,

Бегущим где-нибудь под Павлоградом...
И к вербам, осенившим берега,
Придет и встанет — в пониманье —
рядом

Не виданная отроду тайга.



И, может быть,
Затем дано нам детство,
Чтоб вешним утром встретиться
в упор

С зеленою землей
И заглядеться
На дальнюю красу... И с этих пор
До седины
Оставить в сердце чистом
Влюбленность в мир, горящую всегда
Тем беспокойным, детским любопытством
К открытиям и радостям труда,
Которым —
На земле и в поднебесье,
Но неизменно — завтра, как вчера,
В любой из человеческих профессий
Богаты лишь большие мастера.

.

1939

ОТРЫВОК
ИЗ НЕОКОНЧЕННОЙ
ПОЭМЫ

Память!
Всей своей далью и ширью
Ты лежишь перед этой строкой.
...Это было за быстрою Свирью,
Желтогривой лесной рекой.

Там ведут свои стаи на плесы
Голоса лебедей-трубачей,
И бегут по лощинам березы,
Словно вестники белых ночей;

И, как гусли, поет на откосе
Ветерком продуваемый лес,
Струны бронзовых мачтовых сосен
Натянув от земли до небес.

Только изредка хвойная тропка
Над водой, словно змейка, мелькнет,
И опять торопливо и робко
В неприметный нырнет очерет.

Даже конному суток не хватит
От деревни одной до другой:

На сто верст полусгнившие гати
Колесят по болотам дугой.

В тех лесах через тину и воду
Стлань стелили под звон топора
Мы, солдаты саперного взвода,
Прямоезжих дорог мастера;

Все подходы, пролеты закрыты,
Видит вражеский летчик внизу
Голубую ольху да ракиты,
Да клубимую ветром лозу.

А меж тем, хоронясь под листвою,
По настильным мостам через грязь
Мчатся ЗИСы груженные, воя,
На крутых поворотах кренясь;

Тягачи, запряженные в пушки,
Отжимают к кюветам солдат,
И мочальные тонкие стружки
Из-под танковых траков летят.

Льется — шире ручьев многоводных —
Сталь каленых штыков и стволов
На плацдармы позиций исходных
И на линию ближних тылов.

Может, завтра сосновые кроны
Срежет шквальный огонь-богатырь,
В наступленье пойдет оборона
На челнах, на плотах через Свирь.

Вон уже подтянули понтоны —
Для моста стометровый пролет;
Громыханьем басового тона
Соловьиный кустарник поет.

Это близкого боя начало,
Разговор подступающих гроз,
Наш бревенчатый дзот у причала
Золотой медуницей порос.

Мы обжили его за три года,
И засечь нас враги не смогли,
Кончик хитрой трубы дымохода
Только ночью дымил из земли.

Но ловила зрачком амбразура
Каждый отблеск на свирской волне
И следила бессонно и хмуро
За движеньем на той стороне.

И когда маннергеймовец тихо
Поднимался над сонной травой,
Чайки плакали через полмига
Над пробитой его головой.

А в ответ, заунывно и длинно
На рыдающей ноте проыв,
Били в берег за миною мина,
Поднимался за взрывами взрыв.



И казалось, кузнец многорукий
В сто кувалд по накату гвоздит:
Из щелей, завиваясь в струйки,
Прах песчаный плывет-шелестит.

Так и шли без особых событий
Фронтовые обычные дни:
Полдень — снайперы бьют из укрытий,
Полночь — трасс пулеметных огни.

Но уже натянулась пружина,
Чтобы прыгнуть в смертельный бросок,
Разметать, размолоть белофинна
И втоптать его доты в песок.

Нам, бойцам, под землю сырою
Год за годом сидеть не резон!
Было в маленьком дзоте нас трое,
Три сапера — один гарнизон.

Сердце в сердце жила — не тужила
Неразлучная наша семья:
Я, орловец Иван Старожилов,
Ленинградец Заботкин Илья.

В волосах у Ильи — паутинки,
Первый, ранний мороз седины,
И глаза, словно синие льдинки,
Неулыбчивы и холодны.

Нам хоть изредка,
Поодиночке,
Отзывались друзей голоса,
А ему за три года — ни строчки,
Да и он никому не писал.

Но не раз замечал я украдкой,
Как, проснувшись ни свет ни заря,
Что-то он бормотал над тетрадкой,
Будто с кем-то живым говоря.

Ночью, в самый канун наступленья, —
Что там, слава иль смерть впереди? —
Прочитал он стихотворенье,
Словно вырвал его из груди.

Он глядел неподвижно в тетрадку,
Где была фотография той,
Чьих волос непокорная прядка
Завилась в завиток золотой.

«Тротуара широкие плиты
Чисто вымыты теплым дождем,
Посидим у окошек открытых,
Соловьиной луны подождем.

За Невой, за прозрачностью водной —
Семафоры и дальний рожок.
Может, ты мне расскажешь сегодня,
Почему мне с тобой хорошо?



Эти пряди косы твоей тяжелой,
Этот горестный рот небольшой,
Почему они пахнут ромашкой,
Полевой васильковой межой?

В том краю, где заря вырезная,
Золотой на заре чернобыл,
Ты когда-то мне снилась, я знаю,
Я тогда еще мальчиком был.

Будь же свято мгновение встречи,
Наяву ты теперь, наяву!
И пред нами далече-далече
Сходит белая ночь на Неву.

И средь призрачных, зыбких качаний —
Мелких волн переплеск в тишине...
Так и снял нас фотограф случайный —
Две обнявшихся тени в окне.

Потускневший любительский снимок,
Недопетая юность моя!
Он в болотах под бомбами вымок,
Обтрепались, потерялись края.

Но ни в чем ни на миг не забыты,
Ночь и ты возникает в нем...
И опять тротуарные плиты
Чисто вымыты теплым дождем.

И тебя я целую и слышу
Нежный запах ромашки у рта...
Никогда я тебя не увижу,
Никогда. Никогда. Никогда...

Кто сказал, что осадной зимою
Заснежило твой гроб ледяной?
Ты — вот здесь, предо мной, ты со мною,
И — прозрачная ночь за стеной...»

1951



СОВРЕМЕННОКИ

II

Были ивы в дымчатых сережках,
Были ели в шишках киноварных,
Рыжики брели на мелких ножках
В новых шапках, в сапожках
кустарных.

И гудели теплыми утрами
Пчелы — переходные калики —
Синими черничными коврами,
Алыми коврами земляники.

Тонкий месяц рожками кривыми
Рылся под купавой-недотрогой,
Где лосихе в замшевое вымя
Тыкался теленок тонконогий.

А сохач стоял в воде по горло,
Ветерок ловил губатой мордой;
Теплая волна загривок терла,
Шлепала ладошкою нетвердой.

За пороги из-за Будогощи
Волхов плыл в зеленошумной раме,

К облакам березовые рощи
Светлыми струились теремами.

Мы и сами плыли. Мы и сами
Снаряжали избы, словно струги,
Флюгера драконьими носами
Полудённик резали упругий.

Мы и сами жили. Мы и сами
Молодыми рощами шумели,
Как ручьи, мы были голосами
И по-птичьи понимать умели.

И когда, взревев, над нами взрывы
Закачались на косматых лапах
И не вязь брусничного налива
Расстелилась в кровавыхakraпах;

И когда, крича все глуше, глуше,
Гибли рощи в орудийном шквале —
Нашу плоть живую, нашу душу —
Край наш вместе с нами убивали!

Нет, не разучились мы по-птичьи
Петь и говорить по-человечьи,
Душегубы волчьего обличья
Нас не разроднили с нашей речью.

Мы проходим по убитым селам,
По лесным, по горестным могилам,
Меж полянок, начиненных толом,
Меж берез, изрубленных тротилом.

С новыми надеждами и снами,
С новою любовью человечей.

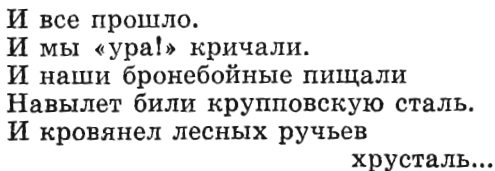
Будут весны на лесных дорожках
Молодых встречать в соцветьях
парных,
Будут ивы в дымчатых сережках,
Будут ели в шишках киноварных.

II

И все прошло.
И даже тряпок прелых
От черных не осталось знамен,
Перержавели перначи и стрелы —
Над ними вырос новгородский лен;

Над ними толща торфяных потемок,
И лишь вода подземного ключа
На свет, бывает, вынесет обломок
Тевтонского двуручного меча.

Бывало, лоси хмурю тропюю
Несли венцы из хвои к водопою,
Раздвоенным копытом били землю...
Бывало, синим сумерокам внемля,
Кричал петух,
Ворота пели тихо,
Бубенчики играли на заре
И по двору бродила аистиха,
Вся в черняди резной
И в серебре.

[illegible]

И все прошло.
И сталь рогатых касок
Ржавеет на березовых крестах.
И кровь напомнят огнецветом
красок
Лишь крылья крестоклювого клеста.

Ни визга мин, ни зыбкого оплота
Траншей, размалываемых в огне,
И лишь в тумане гиблые болота,
Где совы спят на танковой броне;

**И только в ветре медленном долина,
Угрюмые под тучами леса,
И только Волхов, смутный,**
как былина,
Старинных волн седые голоса.

III

Степные вихри —
Вольница стрибожья,
И всхрапы полудикого коня,
И вольные дороги Запорожья
Поныне кличут и томят меня,
То с горестью,
То с гордостью родня, —
Пути Тараса и пути Андрия,
Просторные рассветы Киммерии,
С дамасскою насечкою брони...
Смоленск,
Еще грозящий из огня,
Хвостатых пик сверкающие гряды
И Платова летучие отряды,
Скрывающиеся за гранью дня, —
Я с ними жил. И мне легенд не надо.

Мне и поныне —
Потный запах седел,
Костра полуистлевшего дымок —
Все чудится: плывет от сизых ветел,
Где эскадронный путь в крови намок,
Где брат упал, где я упасть бы мог.
Там и поныне вдовы. И поныне
Песчаными дорогами Волыни,
От Киева на Львов,
Меж большаков,
В седой и горькой, как война, полыни
Впечатан след буденновских полков,
Полет клинков.



Пожаров полыханье —
Судьба моя, а не воспоминанье.

Мы путались
В ночах темноволосых,
Считали звезды в тиховейных плесах
И слушали на зорях лебедей;
И всею
Тяжкой верностью мужскою,
Всей яростью атаки, всей тоскою
Мы вспоминали милых —
Без затей:
Давясь впотьмах слезою воровскою,
Целуя в злые ноздри лошадей.

Товарищи,
Издорванные в лоскут
В днепровских плавнях,
На дуге Орловской,
Затянутые илом Сиваша, —
Они ведь тоже звездам удивлялись,
В грязи кровавой под огнем валялись,
Ползли к траншеям прусским не дыша;
Они ведь тоже обнимали милых
И умирали на рассветах стылых
В развалинах чужого блиндажа...
Я с ними был.
Я тоже бил в упор.
А раны не закрылись до сих пор.

Но прежнюю порой,
На зорях прежних

Опять цветут в Чернигове черешни,
Хмельные ночи прежних не темней,
Литые ливни падают на Ливны,
И капли, словно рубленные гривны,
В косматых гривах боевых коней.
И я — еще дружинник Святослава,
Ходивший в Кафу, бравший Братиславу,
Под Сталинградом умерший стократ
И вставший вновь под солнцем
нашей славы, —
Ревнитель мира, гвардии солдат, —
Благословляю и сады и травы,
Леса и степи... Я привалу рад.

Москва

1946





СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Кедрин

Кукла («Как темно в этом доме!...»)	7
Строитель	11
Поединок	13
Двойник	16
Сердце (Бродячий сюжет)	18
Кофейня	19
Беседа	21
Зодчие	24
Пирамида	30
Архимед	34
1941	35
Мать	38
Родина	39
Колокол	41
Красота	43
Аленушка	44
Узел сопротивления	45
Солдатка	47
«Всё мне мерещится поле с гречихой...»	52
Я	53
Приглашение на дачу	54

Борис Корнилов

«Усталость тихая, вечерняя...»	57
Лошадь	59
«Айда, голубарь...»	61
«Похваляясь любовью недолгой...»	63



Качка на Каспийском море	65
Открытое письмо моим приятелям	68
Песня о встречном	73
Продолжение жизни	76
Интернациональная	79
«Ты шла ко мне пушистая, как вата...»	82
«В Нижнем Новгороде с откоса...»	85
«Без тоски, без грусти, без оглядки...»	87
Прадед	89
Соловьяха	93
Вечер	96
Прощание	98
Командарм	101

Павел Васильев

Бухта	105
«Все так же мирен листьев тихий шум...»	107
Сибирь	109
Азиат	111
Сестра	113
Товарищ Джурбай	115
Песня	117
Путь на Семиге	120
«Когда-нибудь сощуришь глаз...»	122
«Я сегодня спокоен...»	124
«В степях нематый снег дымится...»	125
Дорога («Лохматые тучи...»)	127
Иртыш	132
Стихи в честь Натальи	135
«Родительница степь, прими мою...»	138
Лето	139
Август	145

Павел Шубин

Вступление	151
Степная сказка	153
Эстафета	155



Портрет	159
Сверстница	162
«Санная дорога до Чернавска...»	167
В секрете	170
Маленькие руки	172
Полмига	175
В Киркенесе	176
Солдат	177
Товарищ	180
Пакет	181
Живая песня	182
Надпись на книге	185
Товарищ. (Поэма.). Вступление	187
Отрывок из неоконченной поэмы	190
Современники	197

Дмитрий Борисович Кедрин
Борис Петрович Корнилов
Павел Николаевич Васильев
Павел Николаевич Шубин

**ПЕСНЯ ОБЩАЯ
И СВОЯ**

Стихи. Поэмы.

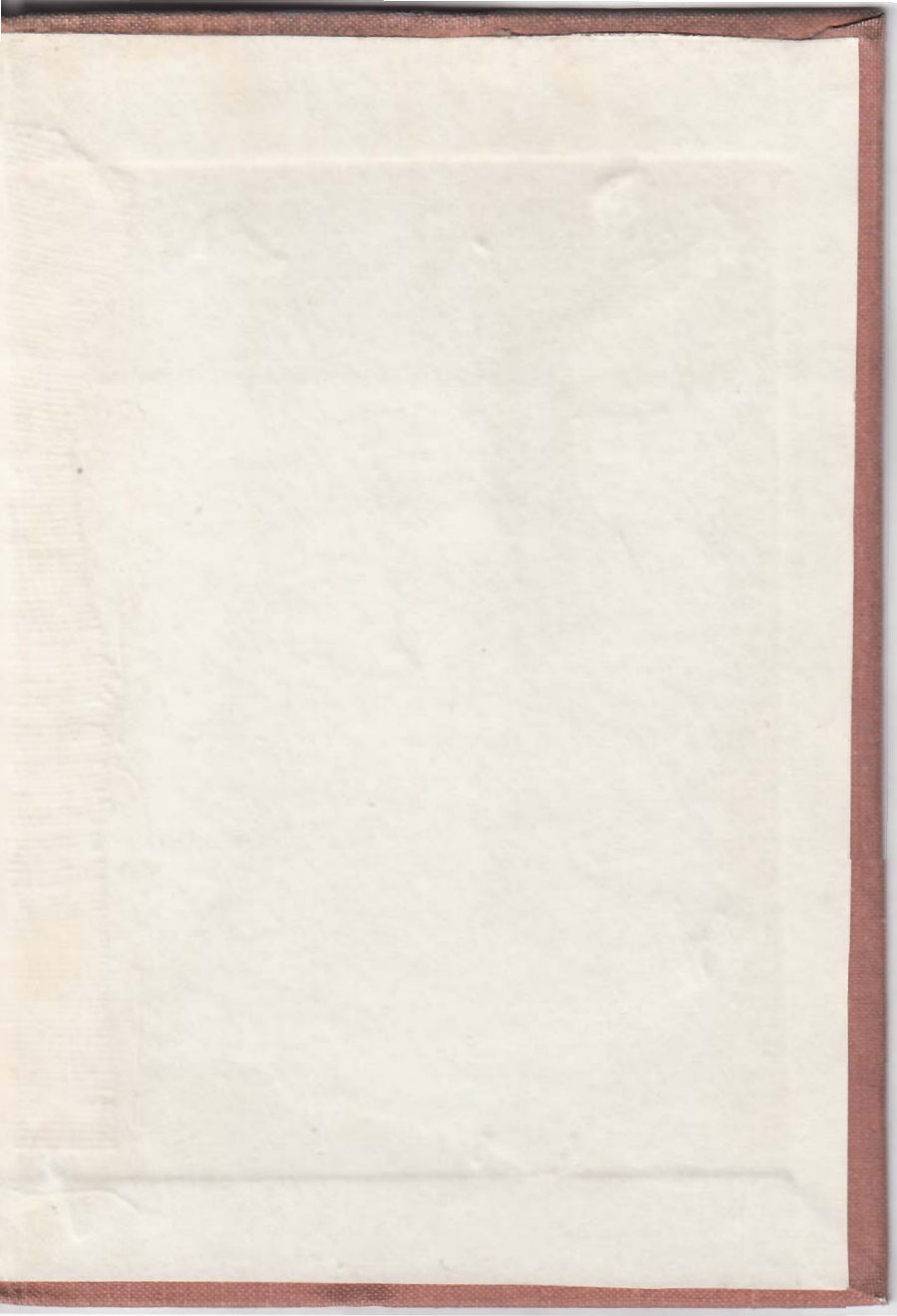
✱

Печатаются по изданиям: Д. Кедрин, Б. Корнилов, П. Васильев — в серии «Библиотека поэта», «Советский писатель», 1974, 1966, 1968 гг.; П. Шубин — «Стихотворения и поэмы», ГИХЛ, 1958, «Стихотворения», ГИХЛ, 1971.

✱

Ведущий редактор Л. В. Г л е б о в а
Художественный редактор
А. С. Р о т о в с к и й
Технический редактор Г. В. А д о в а
Корректор В. А. Л у з и н а

Сдано в набор 5. X. 1976 г. Подписано к печати 4. III. 1977 г. 70×100¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Усл. п. л. 8,38. Уч.-изд. л. 7,04. Тираж 50 000. ОП 00214. Заказ № 10441. Цена 83 коп. Кемеровское книжное издательство. Кемерово, Ноградская, 5. Типография издательства «Омская правда». Омск, пр. К. Маркса, 39.



83 коп.

ЮНИЙРОДО 1977